

ВЛАДИМИР РУССКОВ

КАЛЕНОВ ЯР



ВЛАДИМИР
РУССКОВ

КАЛЕНОВ
ЯР



НОВИНКИ·СОВРЕМЕННОГО.

Владимир Руссков

Калёнов яр

Повесть

«Современник»
Москва
1975

- Руссков В. А.**
P89 Калёнов яр. Повесть. М., «Современник», 1975.
223 с. (Новинки «Современника»).

Руссков Владимир Александрович родился и вырос на Нижнем Амуре. Поэтому не удивительно, что в книгах этого писателя («Сентябрь самый долгий», «Земля моих отцов») главные герои — рыбаки, охотники, строители-нижнеамурцы. В новой работе — повести «Калёнов яр» — он рассказывает о жизни Дмитрия Калёнова, человека, может, и незаметного в огромной людской массе, но беззаветно преданного Родине, прошагавшего по свету хозяином своей судьбы и своей земли.

Р 70302—058 39—75
М106(03)—75

P2

Вместо эпилога

Случилось это в такое хорошее, такое сказочное время, что не верилось людям: как можно умереть вот так вдруг, лечь и не подняться больше никогда, не ступить на землю, по которой столько исходил, не заговорить с человеком, который всегда был рядом?.. Разве можно умереть, если над головой сейчас такое чистое, такое синее небо, будто золотым шитьем пронизанное у краев своих лучами уходящего солнца, если снег на полях сказочно белый и празднично ослепительный, если на ветлах и тополях, что растут подле дороги, птичьи стаи радостно щебечут на весь белый свет, предвещая весну!

А она где-то совсем рядом, совсем рядом — весна! Не сегодня-завтра придет на эту землю, будто любимая и любящая тебя дочь, взмахнет голубой косынкой — и сразу хмельным теплом повеет, над полями хрустально заструится пар.

Страшна и непостижима смерть. Те, кто пришел хоронить Дмитрия Калёнова, знали: где бы и как человек ни жил, всегда кончится так вот. Смерть неизбежна, если неизбежным было для человека его рождение. Но все равно сердце не соглашается с этим, как с величайшей несправедливостью.

Провожает Дмитрия Степановича не так уж много людей. Человеком он был обыкновенным, ничем не примечательным. И жизнь у него была, как бы он и сам сказал, ничем не знаменитая. Обыкновенная жизнь обыкновенного человека. Хлеб добывал — кормился, детей растил, в люди выводил. Повоевал, потому что на земле так устроено: если хочешь хлеб выращивать и растить детей, приходится иногда и воевать.

Идут за гробом люди только самые близкие, самые родные и по крови, и по делам, те, кто каждую морщинку на его лице помнит, знает каждую улыбку.

Это жена Калёнова — Анастасия Андреевна; ее поддерживают под руки двое сыновей: Павел — капитан пограничных войск, он прилетел из Средней Азии, и Василий — колхозный механизатор. За ними идут: единственная дочь Калёнова — Александра, врач из соседнего села; жена Василия — красавица Наташа; ребяташки; потом колхозный председатель Петр Степанович Крохалев — высокий и сутулый старик; его сын Сашка и могучий с игрушечной фамилией и именем Гутька Репкин. Август Иванович Репкин только с виду могуч, а на самом деле стар и потрепан, от серого усталого лица до стоптанных сапог. Он приехал на похороны откуда-то издалека, да и не на праздник ведь ехал...

Конечно, значительно больше могло бы пойти за гробом Дмитрия Калёнова, не один день он прожил на свете и друзей завел, и товарищей, и недругов. Пришли бы, приехали на Калёнов хутор из разных городов и сел, чтобы последний раз снять перед ним шапку или зло-радно удостовериться, что нет больше Калёнова. Но кто мог подумать, что так внезапно придет к человеку смерть?

Молча поставили гроб на холм свежей глины. И тут на теплой, наверно, проталинке или на освободившейся от снегов сухой луговине совсем неожиданно и как-то непривычно жизнерадостно закричала вьюха: «Чьи вы, чьи вы, чьи вы?»

«Рано куличок прилетел — сеять рано начнем», — подумал Крохалев и спросил:

— Ну, что... говорить кто будет или нет?

— Тебе говорить. Ты председатель, — сказал Репкин и стал снимать с гроба крышку.

Крохалев никак не мог собрать слова в стройный ряд. Сегодня в правлении колхоза он даже личное дело Дмитрия Степановича вынул из сейфа, стал смотреть его биографию, хотя знал ее, как свою. Посмотрел на скромный тетрадный листок, исписанный преднамеренно крупными буквами, чтобы быстрее он заполнился, удивился: «Неужели вот здесь вся человеческая жизнь?»

Биографию свою Калёнов писал не так давно, когда его принима-

ли в партию, и ровно ничего не сказала. Крохалеву эта крохотная биография.

Крохалев начал нескладно говорить. Анастасия Андреевна и Шура, увидев последний раз родное и вместе с тем непривычно чужое лицо, тихо заплакали. Глухо завыл калёновский пес Леший. Лешего прогнали ребяташки, но тут снова всполошился на луговине куличок и стал надоедливо и упрямо спрашивать: «Чьи вы, чьи вы, чьи вы?»

Сбил куличок председателя своим вопросом, не дал договорить. И тогда на холмик поднялся долговязый Сашка.

— Я вот стихи по случаю смерти Дмитрия Степановича написал. Хочу прочитать...

Он стал читать стихи про человека, незаметного в людской толпе, трудолюбивого и скромного, про человека, который прошел все на свете хозяином своей судьбы, своей жизни и своей земли. Дескать, то, что сделал человек,—вечно, потому и человек вечен. У него и медалей и орденов на груди немного, и в генералы не вышел, но все равно... как закончил Сашка: «А на его плечах Россия держится, ее надежды, счастье и судьба».

Все верно говорил младший Крохалев. Стихи его были правильные. Они разжалобили всех. Но дело и не в этом. Если бы Дмитрий Степанович мог услышать сейчас Сашку, он бы ему сказал так: «Врешь ты все, Сашка! Стишки эти ты сочинил не мне. Ты их еще в прошлом году на седьмое ноября в клубе читал. Никто мне не писал стихов и никогда не напишет. При жизни раза два или три в районной газете сообщали, что у пасечника Дмитрия Калёнова хорошие сборы меда, грамоты в клубе давали, а стишков не было...»

Репкин слушал стихи и сердито думал: «Насчет вечности сбrehнул, Сашка! Хоть и заведующий клубом, а песни петушинные — брехливые. Ты их для своей самодеятельности сочинишь, для девчонок, которые у тебя в хоре поют, а не для человека, который камнем лег».

А вот с Августом Ивановичем, то есть с Гутькой Репкиным, согласился бы Дмитрий Степанович. Он убежден: вечным человек быть не может. Вечным бывает все неживое. Камни, скажем, вода, небо... А кому природа кровь дала, тому она свой строгий круг отмерила:

свою весну, лето, осень и зиму. И правильно рассудила. На земле все поггло бы сразу, если однажды нарушился бы этот мудрый и суровый закон. Даже молодая трава перестала бы расти, если старая трава не захочет почему-либо жухнуть и освободить место для новой жизни. Любой улей зачахнет, если не помрут отработанные пчелки. И он, Калёнов Дмитрий, жаловаться тут нечего, полностью отшагал по своему кругу, весну свою отпраздновал и лето, первого хлебушка осеннего поел с сотовым медом и зимним свежим воздухом надышался в полную грудь...

Страницы
из биографии
Дмитрия Калёнова

Хутор

Тогда тоже был март, но только начало его. И весна пришла неожиданно рано. По утрам еще мороз ревниво и цепко хватался за землю, а в полдень, когда солнце поднималось в зенит, все преображалось. Где-то на полях зарождались теплые ветры, они дули в сторону реки, оставляя за собой рыжие проплешины в лесу, лужицы талой воды, около которых в каком-нибудь солнечном затишке радостно прыгали и боязливо купались суматошные воробьи.

Река набрякла натужной синевой и вот-вот должна была взорваться сердитым и ликующим грохотом, от которого взметнутся в небо перепуганные галки и качнутся прибрежные деревья. Это, в основном, ольха, рябина и черемуха, реже раkitник, он больше растет на левой стороне реки, а в такую пору, как говорит Митькин дед, даже глухой услышит, как гудят соприкасающиеся деревья и взрываются под вешним теплом почки.

...Дед присел за непокрытый дощатый стол, под неяркой потрескивающей фитилем семилинейной лампой, вправленной в самодельный проволоочный обруч, не торопясь, будто неохотно, а на самом деле с жадностью давно проголодавшегося человека нюхает духовитый запах хлебной горбушки, раз, другой, третий, а потом, насытившись хлебным духом, начинает громко хлебать из деревянной миски жирную сазанью уху. Его лица не видать, потому что лампа висит чуть-чуть сзади, но Митька и так знает это лицо — рябоватое, широкоскулое, с седоватой бородой, с угристым крупным носом, в который въелась пыль, да так и не отмывается даже в паровой бане. Широкие густые брови, под которыми спрятались го-

лубые озерца глаз, делают лицо деда насупившимся и угрюмым. Но старик вовсе не такой. Молчит он потому, что сильно устал за день и ест сегодня по-настоящему только первый раз.

На всей земле сейчас тишина стоит огромная, сторожкая. А в избе Каленовых не уснули еще звуки. Дедушка тянет толстыми губами уху с деревянной ложки, сверчок негромко посвиркивает под печкой, там, где ухваты, шуршит кто-то старым войлоком: наверно, домовой спать укладывается, в маленькое оконце осторожно стучится ветка черемухи. Поздно уже...

Из-за ситцевого полога в мелкий полевой цветочек доносится глубокий вздох, а потом слабый голос матери:

— Митя, а Мить! Налей еще деду ущицы-то... И сам поешь.

Митькина мать захворала и вот уже который день не выходит из-за полога, где стоит ее кровать и деревянный топчан дедовой престарелой сестры Федосьи Павловны. Митька у них все эти дни сиделкой, сестрой милосердия. Он готовит на всех в доме еду, заваривает малиной и шиповником чай, ухаживает за скотиной, присматривает и за пчелками, а сейчас сидит на широком чурбаке, прижавшись спиной к теплой печке, заколачивает веселым молоточком березовые гвоздики в стельку нового ялового сапога, щурится от приятной работы, потому что сапоги в его жизни будут первыми. Сейчас он и в зиму и в лето ходит в опорках от старых отцовских ичигов.

Дед сам пошел к печке, налил полную миску ухи и осторожно, на цыпочках, чтобы не расплескать уху, стал красться к столу. Ноги у него босые. Когда в избу пришел с работы, снял ичиги и развесил вместе с портянками на деревянные колышки, что вбиты недалеко от печки прямо в стенку.

Два шустрых котенка — один пестрый, другой желтый — грелись на загнетке. Увидев за дедовыми ногами завязки от подштанников, попрыгали на пол — поиграть захотелось. Не дошел дед до стола, как споткнулся о пестрого котенка. Старик побоялся наступить на него и расплескал уху себе на ноги и на вякнувшего котенка.

Рассердился дед.

— Эх, ядрено копыто! Чтоб ты пропал совсем! — выругался и заплясал он с миской в руках.

Митька, увидев, как бросились врассыпную котята и как дед пляшет с горячей мисочкой в руках, засмеялся, а женщины завозились за пологом:

— Что там у вас стряслось?

— Дедушка котенка ухой ошпарил!

Дед плеснул из зеленой бутылки самогонки в жестяную кружку без ручки и, прежде чем выпить, сказал нарочито строго, но, сразу почувствовал Митька, весело:

— Вот и дурак за это! Котенок-то в шерсти, ему ничего не сделается, а ноги у деда голые. Не пожалел?

Выпил дед, взялся за ложку.

— Этого пестрого стервеца утопить надо, когда речка пойдет, или отдать кому, а то в избе котов больше, чем мышей.

Дед повеселел, завернул самосаду в бумажку, прикурнул от лампы, — неяркий огонек ее дважды пригнулся, будто задохнувшись крепким дымом, — потом присел на низенькую скамеечку рядом с Митькой и благодушно заговорил:

— Стачаешь сапожки, сваху пойдем искать...

Митька, занятый своим делом, не сразу понял деда, а когда сообразил что к чему, застыдился.

— Зря краснеешь. Твоими сапогами всех свах перепугаешь!

Митька вопросительно поглядел на деда: «Чем же плохие сапоги?»

— Как я тебя учил? Головку намочить надо. Головки-то жестковатые, а потом уж и на колодку щипцами натягивать. Ты же бересту для скрипа подложил, а кожу сухую тянешь.

— Мочил же я...

Увидел дед, как расстроился внук, сказал веселее, хотя и ворчливо:

— Мочил старик точило, а посмотрел, оно сухо. Ну да ладно. Подходящие сапоги, вижу, выходят. Молодец-огурец!

Мать вышла из-за полога в накинутой на худенькие плечи тяжелой шали домашней работы, маленькая, изболевшаяся, с большими глазами, как на иконе богоматери, что висела в переднем темном углу.

— Ты бы не вставала, если плохо, Надя. Больше лежи, тогда, может, и хворь отстанет. — Дед было поднялся, чтобы отвести невестку за полог, но она сказала:

— Залежалась я... Посижу немножко с вами...

Дед уступил ей теплое место на скамеечке.

— Ну да ладно... Все равно мне надо тебе кое-что сказать. Хочу Митьку завтра вместо себя в лес послать.

Мать молча и грустно посмотрела на сына. «Рано ему еще в лесу работать...» А Митькин молоточек застучал веселее.

Дед будто угадал мысли невестки.

— Знаю, что рановато ему с бревнами-то... Но нельзя мне. Плуг пора чинить и чушку скорее надо вести, стайку сломает. Просится...

— Может, рано? Пяти месяцев нету... А, Лука Палыч? Куда поведешь-то?

— К Осьмухину, к кому же... Боров у него будто бы заграничный. Породистый, большой боров.

— Дорого возьмут Осьмухины. Чем заплатишь?

— Сейчас, правда, нечем... Поросятка потом отдам от приплода и рябенького котеночка в придачу, — опять заулыбался дед.

Митька хмыкнул: «Нашел все же дед, куда деть котенка, из-за которого ошпарил ноги!» А старик запустил шершавую и ласковую ладонь в Митькины вихры, сказал:

— Не робей, Митрей! Не хотел я на бревнышки тебя, правда. Да по-другому нельзя. Пока дорога совсем не распустилась, надо все к усадьбе подтащить. И Осьмухин торопит, чирей ему под хвост!

С соседом Иваном Осьмухиным старик Каленов в сложных, непонятных для Митьки отношениях. За глаза костерит Осьмухина на чем свет стоит, сердито «склизким сомом» называет, который по стерне проползет и брюхо не наколет, а в глаза помалкивает. В такое время не любил Митька своего деда и старался уйти подальше, чтобы не видеть, как при Осьмухине линяет старик.

Когда Митьке было лет десять-одиннадцать, Иван Осьмухин вместе с отцом Митьки ушли на гражданскую войну. Митька знает, что воевали они за красных, но отец не вернулся. А Осьмухин очутился дома совсем неожиданно-негаданно. Утром вышел старый Каленов во двор, а Осьмухин машет ему из-за плетня, в свежей сатиновой рубаше, с подстриженными усами и черной бородкой, чистый, как новая деньга, будто и не воевал вовсе.

— Здравствуйте! Мое вам!

Немного времени прошло, а во дворе Осьмухина появилась породистая и редкая в этих местах корова симментальской породы, голов десять овечек, лошадь. Слепая, правда, лошадь, сосед купил ее за бесценок на Сучанской шахте, но огромная и, как зверь, сильная.

Кроме замкнутой, нелюдимой жены и матери, сварливой старухи, у Осьмухина никого не было. А тут привез дальних родственников, Митькиных ровесников, Гутьку Репкина и Настю Колоскову. Ни роду ни племени у них, как говорил Осьмухин, он сам-то им седьмая вода на киселе, но вот пригрел, жалко сирых...

Но кто-кто, а Каленовы знали, как «пригрел» Иван ребятишек. На хуторе ведь два двора всего, все видно. «От его пригрева не только на ладонях, но и на плужьем рогале мозоли нарастут, — сердито говорил Митькин дед. — Замучит он ребятишек!»

Обычно веселый и шутливый, дед по возвращении с войны Осьмухина замкнулся, словно в комок собрался — не разгадаешь его. Как-то, придя от соседа, он сказал Митьке:

— Выйди-ка погуляй во дворе. Нам с матерью поговорить надо.

Когда зашел Митька в избу, дед стоял около окошка, смотрел в него, будто что-нибудь можно увидеть через замерзшее стекло, а мать, уткнувшись в подушку, плакала.

Митька кинулся было к матери, но дед строго приказал:

— Не трожь ее. Пусть поплачет. Не ребячье это дело — в родительские дела вступать...

Митька и не вмешивался в дела взрослых, но с тех пор стал догадываться, что между Осьмухиным, дедом и матерью есть какая-то тайна, тяжелая для деда с матерью. Мать теперь частенько ходила на поденную работу к Осьмухиным, собирала сено на покосе, жала пшеницу серпом, убирала в коровнике, а дед на невыгодных паях заготавливал лес на Ягодной сопке.

Осьмухин задумал сделать пристройку к своему дому, а старик Каленов давно уже хотел поднять венца на четыре свой домишко, потому что подгнил он снизу и осел сразу на два передних угла, как лошадь на больные ноги.

Каленов мог бы и сам припасти лесу на постройку, много ли его надо на четыре венца, но стала прихварывать невестка, а Митьку дед жалел посылать на заготовку бревен, потому что «раньше времени на тяжелой работе и лошадиные дети от грыжи падают»!

А тут еще случилась большая беда. Подохла внезапно каленовская Изметка — покорная и трудолюбивая киргизская лошаденка, которую дед пять лет назад заработал на угольной шахте.

В то утро, когда случилось несчастье, дед пошел напоить Изметку, но скоро вернулся, хлопнул с досадой рукавицами об пол, выругался в богородицу, чего с ним никогда не бывало, спохватился, глянув на иконку, торопливо перекрестился и бросил на стол пук травы.

— Вот! Нету больше у нас Изметки! Отравилась вехом!

Столпились около стола все каленовские, полураздетые, взъерошенные и перепуганные. Мать и бабка Федосья заплакали, как по покойнику, а дед сокрушенно качал головой и мял в ладони колючую бороду.

А когда совсем рассвело на дворе, пришел в избу Иван Осьмухин, присел прямо в шубе к столу, на котором еще вех лежал, и стал договариваться с дедом насчет заготовки леса. Не заметил даже, что в избе Каленовых было тихо, словно на погосте.

— ...Вместе навалим, вместе и вывезем по зимнику. Ты — себе, я — себе...

— Не на чем мне возить... Издохла сегодня Изметка! Женщины опять в голос запричитали.

— Как так? — поднял тонкие черные брови Осьмухин, а Митька подумал, что тот вовсе и не удивился. — Это все от старости... — закачал красивой головой Осьмухин. — От старости и люди помирают.

— Вех ночью съела, а не от старости.

— Может, и вех, — равнодушно согласился Осьмухин. — Этой пакости по всему берегу предостаточно.

— Смотрел. Не было там веха. Всю жизнь там кошу.

— Значит, есть, коли лошаденку загробил. Ну, так как насчет лесу-то? А то мне некогда...

Осьмухин стал надевать шапку на кудрявую голову, а Митька подумал, что сосед мужик хоть и красивый — с прямым носом, с завитыми казацкими усами, с глазами серыми, пронзительными, а все равно пугаешься

его, как пугаешься красивой и сильной собаки. Непонятный какой-то этот Осьмухин...

Очень нужны были деду Каленову бревна, совсем падал домишко. Договорились, что весь лес он заготовит вместе с осьмухинскими приемами Гутькой и Настей. С парнишкой пилить будут, а Настя сучья пообрубает. Потом на осьмухинском мерине Каленов вывезет весь лес, ошкурит его и спустит щепу под брус. И тогда с Осьмухиным будут квиты.

Совсем невыгодные условия, но что делать? Бревна были уже заготовлены, ошкурены, Митька их ошкуривать помогал в лесу, осталось брус нарубить.

— Ну вот, Митька, куриная титька... — дед старался быть веселым, но это у него плохо получалось. — Не хотел я тебя на бревнах надрывать, как этот... — он показал через плечо на окошко, — как этот своих изводит, но ничего тут не поделаешь. Я-то когда-нибудь помру, тебе с матерью жить. Женку опять же приведешь...

Митька зарделся от этих слов, ниже опустил голову, сделал вид, что занят работой и не слышит деда.

— Рано еще жениться-то, — сказала мать, — семнадцать ему только. А девушки славные есть... Настя Осьмухинская, к примеру.

Дед весело подмигнул и отрицательно замотал головой.

— Да ты что, Надюха! Поженились Настя с Митькой, завязали пузо ниткой. На богатой да на сытой надо жениться. С приданым.

— На богатой не надо... Настя девушка простая, тихая. С нею женитьба не в укор будет. А на богатой жениться — в работники к ней идти...

Мать с дедом говорили о Митькиной женитьбе так серьезно, что у того от стыда заполыхали уши и лицо. Провалиться бы сквозь землю, чтобы не слышать такого разговора...

«Ох, до чего же подковыристый дед! Прицепится со своими шутками-прибаутками — хватай шапку и беги на улицу».

Митька сердито засопел, поднялся с чурбана и потянулся за шубенкой.

— Не серчай, Дмитрий Степанович, — уже по-доброму начал дед, но снова не удержался, добавил: — Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко!

Митька выскочил из дому, даже не запахнув шубенки, пошел куда глаза глядят. На улице было темно, морозно, по небу расплылись яркие звезды. Подтаявшая за день дорога взялась озерцами-лужицами, к вечеру они тонко подмерзли и сейчас зеркально отражали звездное небо. Митька наступал на звезды, и они звенели под ногами веселыми стеклянными колокольчиками.

Он еще немного сердился на мать и на деда за их бесцеремонный разговор о его женитьбе, о Насе Колосковой, о которой нехорошо говорить по-делсовому, как обо всех обыкновенных домашних делах. Не надо так говорить о ней...

Он улыбнулся, вспомнив, что у Наси есть дешевые стеклянные серьги маленькими розовыми сосульками, которые она надевает по праздникам. Они у нее звенят тонко и чуть-чуть жалобно, как сейчас под ногами звенят застывшие в лужицах звезды.

Митька не мог еще, не умел объяснить своего чувства к Насе. При ней он всегда стеснялся, замолкал, хотя и вообще-то не был говорливым, понимал, что с Насей надо больше говорить, она любит, когда с нею говорят, потому что сама была стеснительно-неразговорчивой. Встречались они редко, случайно, а встретившись, перебрасывались двумя-тремя ничего не значащими фразами и замолкали. Он перекатывал ичиговым опорком какой-нибудь камешек на земле, она теребила бахрому выцветшего полушалка. Но только Настя уходила, Митька начинал хотя и безотчетно, но больно скучать и тихо ликовал, когда вновь где-нибудь встречал ее.

«Вот Гутька Репкин — другое дело... — завистливо думал Митька. — Этот любую девку заговорит и рассмешит... Проворный, удачливый во всем Гутька!»

Репкин и правда парень разбитной. На трехрядке играет. И хотя слегка припадает на левую ногу, парни из соседней деревни просто тянут его за собой на вечеринки. Митька Каленов тайно завидовал Репкину. Ведь живут они в одном доме с Насей и приходится друг другу дальними родственниками.

Родственники... Митька понимает, что под одной крышей и дела у людей общие, но как-то в лесу, когда они шкурили заготовленные елки, заметил Митька, что Репкин стал смотреть на девчонку каким-то бессовест-

но-призывным, повлажневшим взглядом, от чего Настя зарделась, нервно поддернула шаль, будто замерзло у нее лицо, и отвернулась. А у Митьки ревниво забилося сердце. Он со злостью долбанул острым топором по стволу молоденькой березки. Прошумев ветвями, она упала прямо на Гутьку.

— Ты что, ошалел, что ли, на человека дерево уронил!— заорал на него парень. Хотя и не в дереве было дело — ствол у березки не толще руки. Понял Гутька, что перехватил его влюбленный взгляд этот тихоня Каленов.

«Ошалеешь тут... Таращит глаза, будто уже сватать пришел!»

Настя была красивой. Среднего роста, гибкая, с плечами по-женски сильными и несколько широкими для ее тонкого тела, с грудью высокой и тоже сильной, она казалась старше своих сверстниц. Крестьянские дети, а девушки особенно, рано становятся взрослыми. И не только деревенские парни, когда Насте приходилось бывать в деревне, но и молодые мужики с беззастенчивым любопытством и двусмысленными шуточками провожали стройную деваху. И только девственно-румяное лицо, продолговатые карие глаза, по-детски доверчивые, добрые и удивленные, ребячья застенчивость и угловатость Насти пока охлаждали пыл слишком ретивых ухажеров.

Митька не заметил, как пришел к усадьбе Осьмухиных. Свет из-за ставен пробивался слабенький, здесь скопидомничали и часто вместо керосиновой лампы зажигали коптилку: тряпочный фитилек плавал в тарелке с рыбьим жиром. Митька потоптался около ошкуренных бревен, которые дед Каленов привез сегодня из лесу, и почувствовал, что даже на морозе бревна источают острый хвойный дух. Потом бесцельно прошелся мимо нового забора, которым Осьмухин недавно огородил весь двор от гумна и до низкорослой, просторной стайки, где содержался осьмухинский скот. Послушал, как за стенкой стайки вздыхает корова, куры что-то сонно бормочут, смачно чешется о стайку боров.

Во дворе залаяли собаки — огромный свирепый Жиган и крохотная звонкоголосая Пулька. Им ответили издалека деревенские псы. Митька подумал, что на собачий лай может выйти хозяин, шагнул было к дороге, по которой только что пришел, но вдруг ему показалось,

что он услышал плач. Замер пораженный и, не зная еще, откуда доносится этот жалобный плач, сдвинул с уха шапку, прильнул к мерзлой деревянной стене стайки.

«Наверно, Осьмухин свою Мотрю снова поколотил», — подумал Митька без всякой жалости.

Матрену Осьмухину никто не любил на хуторе. Худая, желтая, потому что давно ее съедал какой-то недуг, жена Осьмухина и характером своим была непокладистой, замкнутой и жестокой. Несмотря на непомерную скупость во всем, Мотря любила красиво одеваться, сурьмила брови, чистила мелом и золой неровные нездоровые зубы, а все равно любое платье на ней висело, как попона на оглобле, а хмурое лицо с тонкими бескровными губами вызывало неприязнь и уныние. Казалось, что никогда эта нестарая еще женщина не была молодой, таким однообразием и скукой напиталось все ее существо.

Осьмухин до ухода в армию жил с матерью и жену себе взял, как говорили, из-за хорошего приданого, а сейчас откровенно презирал Мотрю за некрасивость ее, худобу, за болезненную вялость по женской части, за архангельский окающий говор.

Мотря была родом откуда-то с Белого моря, она завела в доме Осьмухина чуть ли не скитский уклад, жить не могла без рыбы и просто изводила рыбой всех домашних.

Осьмухин рыбы ловил много. Снастью, переметом и сетями. И хотя с тех пор, как в его дом вошла жена, возненавидел все рыбное, продолжал жадно заниматься ловлей. Рыба — сытный продукт и дешевый. Как раз для оравы, которая кормилась в его доме.

Все, что ни ловил Осьмухин в реке — сазана ли, красноперку или осетра, — Мотря почему-то называла тресочкой. Поставит на стол ведерный чугунок, а потом вывалит варево на огромное, похожее на корыто деревянное блюдо, бросит рядом наполовину съеденные деревянные ложки и скажет неизменное:

— Ешьте досыта. Тресочки не потрескаешь, так не поработаешь.

Осьмухин косил своими красивыми глазами, шевелил ухоженными усами, лениво и безразлично ел вместе со всеми, а наевшись, говорил: «Чтоб ты отравилась своей поганой похлебкой!» — и снова ехал за рыбой.

Осьмухин редко разговаривал со своей женой, а пьяный колотил ее или, схватив что под руку попадет, гонялся за нею по двору.

Митька собрался было уходить, но опять услышал тонкий и по-детски жалобный плач. У него заглодело в груди от поразившей догадки: «Настя!» Он кинулся к забору, потянулся руками к заостренным верхушкам горбылей, хотел перепрыгнуть во двор, но по ту сторону забора, совсем близко, засопел Жиган и по-щенячьи шустро залилась лаем Пулька. «Накличут собаки хозяина, порешит из дробовушки! С него станется».

Снова вернувшись к хлеву, он позвал:

— Настя!

Настя будто ждала его, сразу откликнулась:

— Ну, чего тебе?

— Почему ты там плачешь, Настя? Что случилось?

— А где мне плакать? Уходил бы.

— Настя, выйди. Поговорить надо...

Скоро заскрипела на петлях дверь хлева, потом Митька услышал, как Настя успокаивала будто взбесившихся собак.

— Ты, Митька, отойди от забора-то. Всех собак переполошил. Я в калитку выйду.

Настя крадучись выбежала из калитки, схватила Митьку за руку и потянула его прочь от усадьбы.

— Бежим!

Когда дом Осьмухина потерялся в густой морозной темноте, они, запыхавшись совсем, остановились. Настя, доверчиво спрятав лицо в отворотах шубенки Митьки, снова тихо и жалобно заплакала, а он, совсем растерявшийся, положил руки на ее трясущиеся плечи, топтался молча, потому что никогда ему не приходилось успокаивать плачущих девчонок.

— Плохо, Митька! Плохо мне!

— Но почему плохо-то?

— Хозяин пристаёт...

— Как это... пристаёт?

— Не знаешь, как к девкам пристають?

— Но ведь у него Мотря дома...

— Нету ее. В станицу ушла к бабке ребенка ворожить... И Гутька с ней...

— Старуха же осталась в доме.

— Не говори мне про нее... Заодно они с хозяином.

Митька только сейчас заметил, что Настя простоволосая, на плечах тонкий полушалок.

— Бежим к нам, а то захвораешь!

— К вам? Скажет тоже...

— А то к кому же!— Митька даже не удивился тому, что так смело может решать сложные вопросы.

Он заставил ее надеть полушубок, и они быстро пошли к каленовскому дому. Митька держал Настю за тонкую холодную руку, сердце его пело какую-то непонятную и радостную песню, а под ногами искрились, разламывались звонкие льдинки, в которые вмерзли звезды.

Вдруг кольнуло сомнение. Как их встретят дома? Только сейчас ведь разговор о Насте был... Но эти сомнения сразу же исчезли, потому что радостное чувство вновь заполнило все Митькино существо.

Митька вдруг вспомнил и спросил:

— Слушай, Настя! Он же ведь какой-то родственник тебе?

Настя горько усмехнулась:

— Эх, знать бы тебе, какой это родственник...

Он хотел было спросить, как ее понимать, но не успел — подошли к дому.

...В доме Каленовых еще не спали. Дед сидел на Митькином чурбачке и продолжал брошенную им работу; затягивал на колодку яловую головку. Лука Павлович потихоньку радовался. Будут у внука сапоги, хотя головки к ним и не новые. Он выкроил их из старого самодельного седла, когда сдохла Изметка, а голенища в соседней деревне выменял на трех уток. «Утки прожорливые, стервы, попробуй прокорми их, а голенища есть не просят», — так объяснил он свои коммерческие действия Надежде, пожалевшей уток и вместе с тем обрадованной, что сын будет теперь в сапогах. «Парень, хоть жени, а в драных опорках. стыдобушка одна...»

Надежда сидела у самовара, пила чай и что-то тихо говорила свекру. Старик набрал полный рот деревянных гвоздиков и сразу, как вошли в избу Митька и Настя, рассыпал их на бороду.

— Вот...— перешагнув порог, сказал Митька.— Мы пришли.— Больше он не знал, что сказать.

Дед стал кашлять, а мать, потянувшаяся было с чашкой к самовару, так и застыла в неудобной позе.

— Здравствуйте,— потупившись, тихо поздоровалась Настя.

Дед все еще кашлял, хотя кашлять ему вовсе не хотелось, а мать, будто и не болела совсем, гостеприимно засуетилась:

— Господи! Да что же это вы стоите у порога! Проходите же!

— Ай да хитрый Митрий!— весело заулыбался, будто обрадовался, дед.— Ах ты, ядрено копыто, как нас всех объегорил! Ставь, Надюха, новый самовар. Чай пить будем!

Растерялись в доме Каленовых при появлении Нас-ти, но и обрадовались ей, Митька это чувствовал. Ему было приятно, а в то же время стало и не по себе, что мать и дедушка по-своему понимают, почему Настя в такой поздний час пришла к ним.

Мать кинулась раздевать гостью и только сейчас увидела, что на ней Митькина шуба, а сам Митька в одной ситцевой рубаше.

— Господи... Настюша!

Настя больно кусала губы и дергала кончики полусалка. Как скажешь, почему она здесь?

Мать повела ее к столу, посадила в передний угол, под образок богоматери, прибавила огня в семилинейке, смахнула тряпкой крошки со стола и крикнула за полог:

— Федосья Павловна! Может, выйдешь на свет? Гости у нас. Настя соседская пришла.

Старуха, совсем древняя и больная, крайне редко выходила из-за полога, но здесь приплелась, опираясь на палочку, села напротив Нас-ти и, подслеповато щурясь, стала со старушечьей бесцеремонностью рассматривать ее.

— Хорошая девушка и красивая... Ты невестой Митькиной будешь?

«Ох, уж эта Федосья! Ну, старая!» Дед снова деликатно закашлял. Настя застеснялась, нагнула голову, и дед вдруг увидел на ее белой шее красно-синий след от губ.

«Вот как, паршивец, девку разукрасил!— подумал Лука Павлович.— Ну и ловок внучек, махоня-тихоня!»

— Как хозяева-то твои, Настюшка, поживают?— спросил дед, чтобы хоть о чем-нибудь заговорить с гостью.

— Хозяин пьяный совсем... А сама ушла в станицу ребенка ворожить,— ответила Настя такими же словами, какими недавно говорила об этом Митьке.

Митька, молчавший до сих пор, сказал:

— Осьмухин и Гутьку прогнал в деревню с Матрешкой. Приказал, чтобы до утра не ходили домой...

Настя вдруг закрыла узкими ладошками лицо, зарыдала.

— Что с тобой, Настюшка?— кинулась к ней Надежда.— О, господи!

— Осьмухин к ней пристаёт...— Митька решил сразу сказать все.— Требуется, чтобы замуж за него вышла вместо Мотри...

Дед присвистнул, хотя и не водилось за ним такой привычки. В крестьянских домах не свистят. Он сразу понял и происхождение пятна на шее Насти, и то, почему она прибежала раздетой.

— Ах ты, жеребец стоялый! Значит, погубить захотел? Ну, брат, за такие выкрутасы следует Ивану по мордасам!

— Кто по мордасам-то надаёт?— грустно спросила Надежда.— Может быть, ты? Все у него в кулаке зажатые...

Сестра деда все еще рассматривала Настю, она плохо слышала и понимала, и разговор за столом и появление Митьки с девушкой расценивала по-своему, зашамкала беззубым ртом:

— Раньше в церкви венчали... А церковь разорили. По-новому как: вроде свадьба, а праздника-то нету...

Дед сердито зыркнул на сестру и на невестку, поднял мохнатые брови.

— Уведи ты эту метелку, Надюха! Говорит не знает что...

— Как же это так получается?— ни к кому не обращаясь, сказала Митькина мать.— Ведь сродни Осьмухины Насте. Для него что, законов нету?

— Не родня он совсем!— вспыхнул Митька.— Врет он все!

— Врет?— удивился Лука Павлович.

— Надо же вот так!— всплеснула худыми руками Надежда. Она всегда говорила эти слова, когда удивлялась чему-либо. Привыкли уже в доме к такому, а тут дед прикрикнул на невестку:

— Чего надо! Чего надо! Не встревай, Надежда! Пусть расскажет сама про свою беду, а ты помолчи!

Слушали Настю в гробовой тишине, только Лука Павлович изредка сердито заводится да мать Митькина вздохнет горестно: тяжелая судьба у девчонки с первого и по сегодняшний день...

После того как Осьмухин вернулся с войны, он снова надолго исчез с хутора. Никто не знал, что поехал тот к одинокому дальнему родственнику, который жил около Владивостока и находился при смерти. Расчетливый и цепкий ко всему, что плохо лежит, Иван думал поживиться чем-нибудь у смертного одра. Родственник его когда-то был человеком довольно состоятельным. Но Осьмухина ждало разочарование. Не было у родственника ничего и никого, кроме внука Гутьки Репкина. Делать нечего. «Здоровый, сильный и бесприютный парнишка тоже может пригодиться в хозяйстве», — сообразил Осьмухин и повез Гутьку с собой.

В поезде рыщущий цыганский его взгляд скоро обратился к шестнадцатилетней девчонке, которая, забившись в угол, все время потихоньку плакала. Несколько раз Осьмухин пытался заговорить с ней, но она дичилась, на вопросы отвечала неохотно и односложно, но все равно узнал Осьмухин, что Настя Колоскова недавно похоронила отца — мелкого портняжку и пропойцу — и, собрав кое-какие пожитки, поехала в отцовский родной городок, который находился «где-то в России», рассчитывая разыскать там его родственников. Пока добиралась из деревни до станции, забыла мудреное название городка, и уже на станции, когда уснула на деревянной скамеечке, кто-то украл единственный ее чемоданишко. Тогда Настя поехала куда глаза глядят, без вещей, с грошами, завязанными в угол полушалка.

Разворотливый Осьмухин привел какого-то студента, тот раскрыл перед Настей географическую карту и стал называть город за городом, может, больше ста. Настинного города на карте не было, или, сбита с толку последними событиями, она не могла вспомнить.

Осьмухин уговорил Настю под видом родственницы, потерявшей родителей, ехать к нему на хутор и приобрел еще одного дармового работника в свою усадьбу.

Здесь хозяин не стал терять времени даром. Тайно от домочадцев он лип к Насте, а сегодня, когда Мотря стала собираться к повитухе, он под разными предлогами задержал ее до самого вечера, а вечером заставил собираться с нею Гутьку.

— Проводишь,— строго приказал он.— Домой поздно не ходите. Дорога безлюдная, а зверье в марте и святого сожрет за милую душу.

Как только Мотря и Гутька скрылись из виду, Осьмухин подмигнул матери, а та скоренько собрала на стол: принесла самогонки, мороженой брусники, вареников с картошкой, огурчиков и кочанной капусты из погреба. Заставила старуха стол постной, но вкусной пищей, тогда была седмица сырная, а в доме строго блюли староцерковные обряды.

Выпили и Настю заставили выпить, после чего мать хозяина просто сахарным голосом начала:

— Красивая ты, Наська, деваха, сильная. Замуж бы тебе за хорошего человека, за хозяина. Хозяйкой станешь, будешь как сыр в масле кататься...

Обеспокоенная происходящим, насторожившаяся, Настя не сразу поняла, куда клонит мать хозяина, а тот, подвыпивший изрядно, попер напролом:

— Чего уж тут вокруг да около. Хочу, чтобы ты, Настя, моей женкой стала.

От неожиданности у Насти кусок хлеба застрял в горле.

— У вас же есть жена!

— Правильно. Есть и вроде бы нету. Не люблю я Мотрю, постная она, как рыба синявка. И мамаша не любит... А ты подходишь...

— Но ведь она есть у вас! Живая!

— Мертвая она для меня... А если ты насчет разводу, так это сейчас свободно. По-граждански. Раз-два, и готово! Причина к тому же есть: ушла с молодым парнем на всю ночь. А куда ушла?

— Ворожить пошла — ведь хочется ей иметь ребенка!

— Не будет у нее детей! Не родит. Подарила родилку попу на кадилку!

Старуха, увидев, каким презрением налились глаза, потемнело лицо Насти, ушла к себе в горенку и прошипела, слышно было за столом:

— Кочевряжится, будто принцесса заморская. Голь перекатная, а туда же...

Осьмухин больно и неожиданно обнял Настю и стал жадно целовать мокрыми губами лицо и шею. Настя рванулась, опрокинула табуретку вместе с пьяным хозяином, выскочила во двор и спряталась в хлеве. Озлобленный Осьмухин, распаленный любовной страстью, зверем побегал из угла в угол по двору и, не найдя Нас-ти, напился и мертвецки уснул.

От рассказа Насти у деда грозно заблестели глаза, скулы нервно напряглись, отчего стала топорщиться борода.

— Огня под хвост этому мерину, чтобы с глаз долой скакал. Ишь что удумал! Ты, Настя, не ходи туда больше. Не ходи, и все! Немного радости ждать, когда этот волк шею тебе перегрызет. Поживи у нас до лета, а там что-нибудь придумаем. Правильно я говорю, Митюха?

— Конечно, правильно... Места у нас для всех хватит.

— А ты что скажешь, Надежда?

— Головы больно горячие и у деда и у внука, вот что скажу! Я не против. Настюшка мне давно нравится. А как Осьмухин на это посмотрит? Он своего просто так не отдаст.

— А мы его того... к ядреной матери!— кипятился дед.— С волком жить — по-волчьи выть... Настя сама решит.

Настя обрадовалась. Как бы хорошо жить и работать с этими славными и простыми людьми! Но все равно ей было страшно решиться на такой шаг сразу. Она перестала плакать, порозовела от выпитого чая и под светом неяркой лампы казалась еще красивей. Митька украдкой поглядывал на Настю и невольно думал: «Соглашайся, Настя! Тебе будет хорошо у нас. Соглашайся!»

— Не знаю я... Мне бы хотелось. Лишним ртом я не буду. Всякую работу могу работать. Хозяина боюсь.

— Вот-вот, что и я говорю. Боишься! Если бы не боялась, разговору бы у нас такого не было. Всю жизнь тебе бояться?— не отступал дед.

— Я еще раз скажу. Оставайся, Настя, живи. Рады тебе будем,— вступила в разговор мать.— Только я, как и ты, этого вертопраха сильно боюсь.— Она многозначи-

тельно посмотрела на деда, и Митька вспомнил вдруг, что есть у них какая-то тайна, нехорошая и жестокая, которая гнет в бараний рог и мать и деда...

Настя осталась ночевать у Каленовых. Договорились, что все решат окончательно утром, потому что утро вечера мудренее. Ей постелили на широкой лавке у стены, приставив табуретки. Там всегда спал Митька, но сегодня он забрался на теплую печку и улегся на своей шубенке, бросив под голову снопики пахучего коровяка, который мать заготавливала весной для грудного чая, и полыни, хранившейся тоже для лечебных целей.

Митька был счастливым, взбудораженным и долго не мог уснуть, но он и не хотел засыпать: со сном могло уйти это легкое и праздничное чувство.

Но оно не ушло, даже когда он уснул. Прилетели сны, радостные и вместе с тем явственные...

...Вот он еще совсем маленький бежит по дороге, горячий и мягкой от пыли, по пушистым одуванчикам и синим василькам. Дорога длинная-предлинная, она тянется куда-то в бесконечность, а Митька знает, что там дальше, за этой бесконечностью, напоенной солнцем, запахами золотого овса, где на дороге и над обступившим ее лесом лежит васильково-синее небо, идет ему навстречу дед Лука Павлович с долгожданным и дорогим подарком — красным деревянным конем под золотым седлом, с хвостом из пушистой кудели.

Потом он летит на самодельных лыжах с крутой горки стремительно и храбро, так, что ветер тонко свистит в ушах и дух заходится смелостью и страхом, сердце сжимается в комочек и трепещет, словно снегирек в силках. Вместе с ним, совсем рядом, с развевающейся на ветру черной косой скатывается с горки Настя. Она счастливо смеется и смотрит на него ласковыми и добрыми глазами. Почему Настя? Ведь Насти еще не было на хуторе, когда он был маленьким.

Сны приходят один за другим, совсем разные — но все радостные, приятные и смешные. Вот он на печке рядом с матерью. Печка пышет горячим жаром, и он не может перенести этот томительный жар, осторожно, чтобы не разбудить мать, сползает и шлепает босыми ногами по прохладному полу. А пол мягкий, как пыльная дорога, по которой он только что бежал, и вдруг он снова птицей летит навстречу синему небу, навстречу

деду. Дед поднимает его на руки, щекочет своей бородой и говорит ласково: «Ах ты, Митрий-микитрий, ядрено копыто!» Нет, это вовсе не дед, а Иван Осьмухин цепко и больно держит его в сильных руках, поднимает высоко над головой и с этой огромной высоты бросает на землю.

Митька просыпается с тяжело бьющимся сердцем, немного успокаивается, прислушивается к ночным шорохам и звукам, которые бродят по избе, и вспоминает с радостью, что Настя сегодня спит у них, что, может быть, останется здесь навсегда.

Сверчок весело посвиркивает где-то рядом, котята мурлыкают свои песенки, а это... Что же это такое? Бабушка Федосья Павловна шепчет молитву... Почему вдруг ночью и почему такая молитва?.. «...Тебя, дева непорочная, на помощь призываю. Милосердная госпожа, дево богородице, избави муки вечные смиренную мою душу...» И еще что-то шепчет бабушка, не может понять Митька. Он снова напрягает слух и снова слышит тихий, как шелест листвы или дождя, шепот: «Как земля сохнет, как трава сохнет, как сук сохнет, засохни твоя болезнь! Как земля сохнет, как трава сохнет, как сук сохнет, засохни твоя болезнь...»

Заговор! Бабушка заговаривает болезнь? Она знает много заговоров. Летом, когда Митька отбивал на покое литовку и порезал палец, она заговорила ему кровь. А сейчас, может быть, маме стало хуже?

— Бабушка!

К его удивлению, ответила не бабушка, а мать:

— Спи, Митя, спи! У Настюшки небольшой жар. Простудилась она, наверно... Спи. Это скоро пройдет, пройдет...

Митька долго не мог уснуть, хотя в доме все давно уже успокоились. Он слушал ровное дыхание Насти, похрапывание деда, тихую возню за пологом, мурлыканье котят, неунывающий голос сверчка и думал о том, что случилось.

Мысли у Митьки встревоженные, будто небо осенью. То солнышко выглянет, то побегут под ветром хмурые тучи. Настя, конечно же, останется у них в семье, не уйдет больше к Осьмухиным в большой мрачный дом из огромных черных бревен, где вся жизнь ее будет несчастной, пройдет как в скиту или лесном монастыре.

Митька когда подумает нечаянно про скит или монастырь, чувствует что-то маленькое, и вместе с тем гнетущее и тяжелое. Он не помнит, мать рассказывала или дед, что когда-то на яру была непроходимая, темная тайга, а в ней скит. Сперва сюда сбегались люди, которые восстали против новой церкви. Митька не знает, что такое новая церковь и что такое старая, понимает только: неспроста прятались в такой глухомани непокорные люди. Они сродни тем гордым упрямам, которые еще давным-давно подняли топор на царя, но не устояли против его силы и скрылись здесь, в непроходимом лесу. Они строили в тайге бревенчатые дома-скиты и жили отшельниками, поджидая лучших времен и лучшей доли.

И фамилия Митькина древняя, еще с тех времен. Когда царь узнал, что где-то в тайге, на берегу реки есть вот этот хутор, он послал сюда своих вооруженных людей. Хуторяне не захотели смириться, сдаться на милость пришельцев. Тогда их загнали в избы и заживо спалили. Отсюда фамилия Каленов. От слова калить, закалывать на огне.

Прошло много лет, постепенно все сменилось вокруг, люди выжгли и раскорчевали тайгу на яру около хутора и вспахали поле под огороды и овес. Новые поколения не захотели селиться на Каленовом яру и уже подалее, выше по реке, построили станицу, а ниже — большой город.

Конечно, в городе жить лучше, веселее. Митька давно бы уехал туда, если бы захотели ехать мать и дед. Но дед сказал, что не по годам ему, старику, скакать с места на место, он хочет помереть здесь, где похоронены его деда. Вот когда Митька вырастет, станет хозяином, пусть поступает как захочет. Может даже и в город уехать. Нечего молодому-то отшельником жить, спиной к миру. Время не то...

Вот времечко придет, дед сам повезет Митьку в город на учебу какую-нибудь или к делу пристраивать. А там пусть сам Митька решает, в городе ему лучше или на Каленовом яру. Лука Павлович нет-нет, да и заговорит о смерти, но Митька не хочет никак понять, как это может дед умереть — всегда веселый, трудолюбивый и непоседливый. Значит, жить им на хуторе еще долго-долго. Всегда.

Митька старается представить, как здесь жили давно, когда в лесу был еще не хутор, а тайное поселение вольных людей, и на ум приходит почему-то уклад и обычаи семьи Осьмухиных. Темный у них дом, непонятный... Старуха Осьмухина и Мотря верят в бога и молятся двумя перстами. А Ивана, хозяина, и совсем не понять. Он тоже, Митька это сам видел, как-то стоял, склонив голову под образами, а потом на улице лаялся в бога. У Каленовых только старая Федосья Павловна крестится, но уже почему-то тремя пальцами. Непонятно все это. Совсем, кажется, пустяк, на который не обратишь сразу внимания, а из-за него все время, сколько живет Митька, прочная, хотя и тайная вражда отгородилась, отвернула друг от друга хуторские дома.

И дома эти совсем разные, хотя из одинаковых бревен сделаны. У Осьмухиных изба мрачная, как тюрьма, у Каленовых — беленная известью. Жизнь у Осьмухиных какая-то недоверчивая, откровенно грубая, а у Митьки в доме будто всегда добрый праздник. Потому, что люди совсем другие — Каленовы. Ни дед, ни мать, ни бабушка Федосья Павловна никогда не закричат ни на кого, не обидят ни словом, ни делом. И оттого легко жить с ними. И Насте тоже будет хорошо здесь, если она захочет уйти от Осьмухиных.

С такими мыслями он задремал, но ненадолго: в хлеву, где Каленовы держали кур, заорал петух. Ситцевые шторочки на окнах поголубели, и на землю с неба стал спускаться новый день.

Митька потихоньку встал, оделся, принес дров, затопил печь и так же тихо, чтобы не разбудить никого, пошел на речку за водой. До того, как ехать в лес за бревнами, нужно успеть наварить какой-нибудь еды. Матери это тяжело, а дед в кухонных делах ничего не понимает.

«А может, еще не придется ехать? — подумал Митька. — Узнает Осьмухин, что Настя у нас, рассердится и от дармовщины откажется...»

Совсем недолго ходил Митька по воду, а когда вернулся, в доме все были на ногах. Настя на лавке закуталась в полушалок, мать сердито гремела посудой около печки, растерянный дед ходил по избе и тоже сердито теребил бороду.

Под образами богоматери в расстегнутом овчинном полушубке, в синей чистой рубахе навывпуск, в полу-

военных новых брюках, в мерлушковой серой шапке-папахе, нарядный по-воскресному сидел подвыпивший Осьмухин.

— Пригрели, значит, сироту несчастную? А кто просил пригревать? Может, Иван Тарасович Осьмухин просил? Нет, не просил. Нехорошо, Лука Павлыч! А если кто ночью придет и вашего таракана — Митьку — уведет, а? Ведь и такое может случиться. Придут и уведут под ружьем!

Митька поставил ведро и медленно, спокойно, хотя лицо его взялось жаром, а по телу пробежала злобная дрожь, подошел вплотную к Осьмухину.

— Не уведешь! Баранов водят. Понял?

— Ух ты! — насмешливо удивился Осьмухин. — Совсем сопливый грачонок, а каркает, как большой ворон. Изгинь! — Осьмухин сжал большой кулак и хотел еще что-то сказать, как мать крикнула:

— Митя, отойди от него! А вы шапку хоть снимите. Под образом небось.

— А я под чужими образами не раздеваюсь. У меня в доме свои образа! — И уже к Насте: — Хватит кашу по столу размазывать. Собирайся, девушка, погостевала... Уросливая стала. У Каленовых научилась?

— А если она не пойдет? — Дед остановился перед Осьмухиным, и Митька видел, как задрожали, как напряглись его жилистые руки.

— Как это она может не пойти? — Осьмухин вытаращил пьяные глаза на Каленова.

— А вот возьмет и не пойдет!

— Ну, это, за между прочим, дело ейное. Может и не идти. Но она пойдет! Сам ты, Лука Павлыч, скажешь, чтобы шла. В ножки ей поклонись. Или забыл, какую радость я вам с Надькой преподнес, а?

— Не забыл.

Настя плакала. Дед осторожно притронулся к ее косам большой ладонью.

— Надо тебе идти, Настюшка... Надо. Ничего здесь не поделаешь... Не обессудь и прости нас...

— Дедушка! — крикнул Митька. — Зачем вы так?

— Молчи, Митька, молчи. Значит, надо...

Митька совсем растерялся и не знал, что делать. Мать тихо всхлипнула у печки, а Федосья Павловна совсем некстати зашептала за своим пологом:

— Смиренную мою душу посети, господи, иже во грехах житие все изжившую. Но яко же блудницу прииме мене и спаси мя...

Баня Каленовых стояла под яром на самом берегу реки. Чтобы в большую воду или в ледогон река не унесла ее, дед Каленов вместе с сыном Степаном, когда Митьки еще и на свете не было, придумали для баньки несколько несуразную для здешних мест, но мудрую конструкцию. Они установили ее на комлях вековых лиственниц в полутора метрах от земли. Маленькая и черная от старости банька — будто избушка на курьих ножках. В половодье вода подходила к самой бане, это было очень удобно, потому что в обычную воду приходилось бегать с ведрами далеко.

Эта весна была тихой, и вода высоко не поднялась. Полдня потратил Митька, чтобы натопить баньку и наносить воды. Сегодня будет большой банный день, а завтра чуть свет все взрослое население хутора уедет на две недели в луга, что на левой стороне реки, на островке. Останутся на хуторе только старухи — около избы старый человек всегда сторож.

Митька на минуту открыл двери бани и предбанника, чтобы выпустить угарный дух, старым березовым веником вымел древесные щепки, обмел полók, обмыл его кипятком и, присев на бревнышко, стал ждать деда.

Мужчины на хуторе всегда в бане мылись первыми, на горячем пару, а женщин посылали, когда там несколько поохолонет. «Баня по-черному с молодым паром,— говорил дед,— как молодая баба с сердитым норовом, потому посылать мужиков к ней надо с характером!»

Наверху зашуршал галечник. Митька подумал, что это идет дедушка, а когда повернул голову, увидел Гутьку Репкина.

Гутька шел чуть косолапя, потому что в детстве ему наступил на ногу жеребец, и она неправильно срослась. Парнем Гутька был высоким, широкоплечим, не очень красивым. Нос у него походил на большой огурец с мелкими пупырышками. Но зато Гутька был пламенно-рыжим и кучерявым, чему завидовали многие парни в деревне и сам Митька. Попробуй сыщи такого бравого молодца на хуторе и в деревне — бесшабашно веселого,

сильного и смелого. Гутька, видимо, и сам понимал, парень он что надо, и от этого смелел еще больше.

Друзьями Гутька и Дмитрий не были, только, может быть, неплохими товарищами. Некогда дружить, каждый всегда занят своим делом. И встречались они редко. А потом, ведь Гутька считал себя взрослым. Он уже и на вечерки с гармошкой ходил и знал много такого, о чем Митька и представления не имел.

Пройдет Гутька Репкин по деревне в яркой сатиновой рубахе, в скрипучих сапогах в гармошку, в шапке набекрень, растянет старую, но голосистую еще хромку, чуб рыжий распустит — петух петухом! Все деревенские парни и девки тут как тут! Вызывающе затянет нескладушку:

Эх, елочки-метелочки,
Девочки наряжены,
Запоеет сейчас для вас
Балалаечка моя!

Девчата маком зардеют. Счастливый человек Гутька Репкин!

— Здорово были, Митюха! — крикнул Репкин, а когда подошел, протянул тяжелую руку с шершавой ладонью и представился шутливо, по-городскому: — Август Иванович Репкин!

— Ох уж... Так и Август Иванович? — улыбнулся Митька. — Девкам в деревне красиво заливай.

— Девки знают! А тебе говорю, чтобы уважал старших.

Гутька сел рядом на бревнышко, достал из кармана шаровар розовый сатиновый кисет, завернул «козью ножку», протянул кисет Митьке.

Тот отвел руку.

— Ах, да! — улыбнулся снисходительно и стал прятать кисет Гутька. — Я и забыл, что с ребятенком молочным разговор веду...

«Что-то Гутька сегодня задиристый больно... Может, выпил? У Осьмухиных это просто...»

Репкин затянулся самосадам и продолжал будто давно начатый разговор:

— Настя уж больно тебя расхваливает. Говорит, что тихий ты, ласковый и добрый. Это правда?

— Не знаю, — Митька начал сердиться.

— Отчего не знаешь?— ехидничал Гутька.— Настя знает, а ты нет... Может, сонный ее приласкал?

— Отстань, Гутька. Надоело.— И чтобы как-то отвлечься от неприятного разговора, спросил:— На покос едешь завтра?

— А то как же... Тебя-то, наверно, не возьмут?

— Почему?

— Хоть и ласковый, но квелый.

— Брось!

Но Гутька не унимался:

— Ты скажи, Митя, почему у вас Наська ночевала, когда мы с Мотрей уходили в станицу?

— А ты не знаешь?

Гутька понял его по-своему:

— Она мне не рассказывала. Про такое девки не говорят.

— Ты, Гутька, пьяный и дурак еще. Уходи. Я деда жду. Завтра на покосе, если хочешь, поговорим.

— А ты не гони. На покосе Иван Тарасович мне рот зажмет, а тебе и подавно.

— Почему «подавно»?

— Потому что вместе с матерью и дедом кормитесь около него злыднями.

— Вот как! А ты? Чем ты кормишься?— Митька вскочил на ноги.— Ну?

— Ох ты, какой богатырь!— искусственно засмеялся Репкин.— Побороться хочешь? Давай!

Митька ниже Репкина на голову, в плечах узок, костью тонок, но во всей его поджарой фигуре было сейчас столько злой собранности, что Гутька увидел, как налились холодом глаза Митьки, как под белобрысыми волосами покраснела кожа.

— Ты не серчай. Я же просто так,—сказал он примирительно,— не со зла. Может, не будем, а?

Но Митька обиженный и яростный, набросился на Репкина, и тому надо было собрать все свои недюжинные силы, чтобы подмять его под себя.

Он встал, отряхнул шаровары, поправил льняной поясок на рубахе и сказал с усмешкой, в которой уже не было той нагловатой ядовитости, с какой он начал разговор:

— Квелый! Но пружина у тебя в позвонке имеется...

— Уходи, Гутька!

-- Рассердился? Зря. Я по-доброму...

— Что-то добрым вдруг стал?

— Да я и не был сердитым. Просто девать себя некуда. Заскучал...— Он помолчал, о чем-то раздумывая, потом добавил:— А Настя правду говорила, что ты какой-то особенный... Влюбилась она в тебя, что ли? Или ты и на самом деле такой?

На горе снова зашуршал галечник. К бане спускался дед Каленов. Гутька не стал дожидаться его, медленно пошел по берегу к своему дому, и Митька подумал, что Гутька изменился как-то вдруг. То был задиристым, как мартовский кот, то сразу скис...

Дед пошел прямо к бане и на ходу сказал внуку:

— Чтой-то ты, как воробей по весне, растрепанный весь...— А когда подошел к бане, крикнул:— Ну, Митрей-воробей, раздевайся, париться будем!

Парился дед Каленов жестоко, до изнеможения, так, что старенькая банька ходуном ходила от возни, которую он устраивал там, от его восторженных воплей. Сперва, пока хватало сил, он хлестал себя березовым веником сам и только покрикивал внуку:

— Наподдай! Наподдай, Митюхо — вареное ухо! Наподдай!

Митька плясал на раскаленном полу, лил на полыхающие жаром камни зеленую воду из котла (там заваривался новый березовый веник для деда), и вместе с обжигающим сухим паром по баньке растекался молодой и пахучий березовый дух.

— Наподдай!

Потом, когда силы у деда окончательно иссякали, он сползал с полка, нагишом трусил к реке и плашмя падал в нее. Митька летел в воду следом за ним. И тогда в обеих усадьбах слышали рев блаженствующих старика Каленова и его внука.

«Охолонувшись», дед снова забирался на полку, Митька вытаскивал из котла распаренный веник, толкал в котел новый, плескал на камни из ковша пахучий кипяток, надевал рукавицы и старую шапку, потому что без шапки и рукавиц можно было просто сгореть, и брался за деда. Тот, будто сатана в аду, корчился на полке и кричал:

— Добивай, Митька, деда! Добивай! И-и-эх!

Митька не так жадно парился. Часто он не выдержи-

вал и под веселый хохот деда пулей вылетал из банного пекла на улицу. Но парную баню все же любил, потому что после нее чувствовал себя обновленным, будто промытым насквозь и таким радостным, сильным, что все в нем пело от этого здорового и легкого чувства.

Но сегодня ему не захотелось париться. Вволю нахлестав деда, он ушел на речку, поплавал немного и, выбравшись на пологий, сизый от галечника островок с теплым, будто шелковым песком, лег на спину и стал смотреть, как по бездонному синему небу, подсвеченные солнечным золотом, табунятся белые и розовые облака.

Облака — это живые существа и люди, удивительно похожие на тех, кого знал Митька. Нужно только присмотреться внимательно, подождать, когда, лениво побродив по небу, они примут желаемые формы.

Вот к белому табуну робко подкрадывается сбоку курчавый барашек. У барашка вытягивается шея, вырастают ноги, и это уже не бархатный барашек, а их конь Изметка, добрый и бойкий, с шелковой развевающейся гривой, только почему-то без хвоста. А рядом какое-то чудище ощерилось на бесхвостого Изметку, будто смешно смотреть ему на такого странного коня.

Скоро верховик пробил брешь в облачном табуне, и снова на небе стали вырисовываться разные фигуры, то смешные, то устрашающие и непонятные совсем. Они плыли высоко-высоко, а все равно цепляли Митькину память и воображение, и он начинал думать о хуторе, который красиво называется — Каленовым яром, о дедушке, о матери, об Осьмухине. Больше Митьке не о чем было думать: запас впечатлений у него был крайне скудным и дальше Каленова яра и его однообразного быта не распространялся.

Осьмухины после случая с Настей будто отгородились от Каленовых, не узнаешь и не проведаешь, как они живут-то... Настю с тех пор Митька видел только два раза. Она как-то помахала ему платком с берега, когда он проплывал на лодке мимо их дома. Митька хотел было пристать к берегу, затабанил веслом, а Настя, словно испугавшись чего-то, убежала к дому. Митька тогда возвращался с охоты, в лодке у него лежало старенькое дедовское ружье, он схватил его и паль-

нул от досады дуплетом в воздух. Из калитки вышла Мотря Осьмухина и стала грозить Митьке кулаком. Она кричала что-то злое ему до тех пор, пока он не скрылся за излучиной реки. А другой раз они встретились с Настей по дороге в деревню. Митька обрадовался, заговорил с нею, но Настя притронулась розовой ладошкой к губам и показала глазами на придорожный ельник, через который, сбивая хворостинкой пух с одуванчиков, шел Осьмухин.

«Видно, караулит он Настю и не велит ей разговаривать с нами», — с обидой и зло подумал тогда Митька и сейчас об этом думал с горечью.

Ветер пригнал облако, похожее на осьмухинского кабана. Кабан, как на перину, взгромоздился на другое облако, побольше, и затих.

«А дедушка рассердился на Осьмухина из-за Насти, не повел к ним чушку, — подумал Митька, — погнал чушку за пять верст хворостиной в станицу. И правильно...»

Дед приплелся домой поздно вечером, смертельно усталый, чушка зауросила от такого перегона, и все равно дед был доволен. «Хоть и лиха я с ней хватил, с дурой, трижды клятой, зато в ногах у этого стервеца не валялся. Пусть подавится своим боровом!»

Где-то совсем рядом выплеснулась из речки большая рыба, выгнулась, блеснула на солнце и шлепнулась плашмя в воду. На другом берегу около острова всполошенно закричала цапля. «Лопала своих лягушек, да, видно, не заметила, как выдрешка наскочила...» Совсем низко, хоть рукой доставай, просвистел клинышек чирков. Клинышек покружился над рекой и упал там, где был каленовский покос.

Митька подумал, что завтра на сенокосе он, наверное, сможет поговорить с Настей, узнать, почему она будто сторонится их дома.

«Осьмухина боится... Рассердился тот, что пригрели мы Настю. И дедушка его боится, и мать...»

Митька вспомнил, как обмяк дед, растерялся, когда чем-то пригрозил ему Осьмухин. Его решимость оставить в доме Настю пропала сразу, будто солнце под грозовой тучей. Мать робеет перед Осьмухиным и на поденку к нему всегда идет с готовностью, безропотно... Почему?

На сенокос дед с внуком выехали рано, еще солнце не поднялось. По речке, прямо по рябинкам мелких волн, полз серый, ощутимо скользкий и холодный туман. Кустарники на яру и под крутым берегом, вербинки и ветлы стояли мокрые, вроде озябшие. Ночью над хутором прогрохотала гроза с ливневым дождем.

За речкой, на другом берегу, одиноко кричала какая-то птица, тихо плескались волны, словно боялись разбудить глухую тишину, которая объяла сейчас все кругом. Неуютно в такую пору на реке!

Митька греб торопливо и сильно, туман холодом заползал под рубаху, и Митьку проняла мелкая, противная дрожь.

Дед сидел на корме, как филин на суку,— молча и неподвижно. Речная сырость его тоже проняла, и он боялся пошевелиться. Коротенькое рулевое весло, просунутое в веревочную петлю, так себе, без дела тащилось за кормой.

«Внук,— думает дед,— хоть и тихий парнишка, но сильный и крепко к речке привычный. Лодку он чувствует, как хороший всадник лошадь. Учить надо парня... К делу определять. А какое дело на хуторе? Старикам, может быть, не маетно, больным тоже спокойно, да таким, как Осьмухин. Не выпусти сейчас Митьку к свету, Каленов яр всю жизнь перегородит ему, как заездок речку,— непривычный к городской жизни, сгинет малец, как огурец на мокрой грядке. В станицу бы послать внука, все же близко это от хутора, но в станице сейчас, сразу после гражданской, не разбери-пойми что делается. Люди не поостыли еще после войны, злые, упорные. До сих пор меж собой воюют за земельные наделы и сенокосные угодья. Всю землю новая власть отдала людям, ан, кажется некоторым, мало дали... Стодесятинники хватают за глотку семейских, запахивают их тощие клинышки, а семейские отбиваются, как могут. Свара! И конца этому пока не видно».

Не может Лука Павлович оставить подле себя внука и по другой причине. Отец Митьки, Степан Каленов, вместе с Иваном Осьмухиным уходил воевать за Советскую власть. Всю войну не было слышно о Степане ничего. А когда вернулся домой Иван Осьмухин, сказал по секрету Луке Павловичу, что Степан предал Советскую власть и ушел за кордон с белыми.

Не хотел поверить такому Лука Павлович. Никак не могло такого случиться, чтобы Степан бросил свою Надежду и сына, чтобы клюнул на приманку белых и от родного дома ушел насовсем черт-те куда! Не могло быть такого — и все тут! Лука Павлович и Осьмухину так сказал. А все же... Война ведь как большой пожар, а на большом пожаре не узнаешь, кто багор к дому тащит, а кто сундук от дома... Он, Лука Павлович, всю империалистическую провоевал. Там всякое случалось. Кажется, всю войну, всю жизнь человека знал, все пуговицы на его шинели пересчитал, поверил, как родному, а смотришь, в крутой кипяток попал товаришок и сразу сварился в том кипятке, как яичко...

Нет! В чем, в чем, а в трусости не мог заподозрить сына Лука Павлович. Не такие Каленовы, чтобы трусить. Но ведь военная судьба у всех по-разному складывается. Может, раненым увезли с собою Степана белые, может, по какой-то ошибке влетел к ним сизым голубем. Осьмухин не знает. Он только знает, что это факт и что никому об этом не известно, кроме него. А потому Луке Павловичу и Надежде не след вступать в какой-либо спор, портить соседские отношения с Осьмухиным.

Лука Павлович вспомнил этот разговор и от злости зашевелил бородой. Осьмухин тогда будто буравом сверлил Луку Павловича черными цыганскими глазами и зловеще шептал:

— Да, не след, Лука Павлыч. Не след! Хорошо, что я один про это знаю. Со мной можно дружбу водить. Я мужик свойский. Но, как говорится, мы — вам, вы — нам! Вы с лаской — и мы с рубашкой нараспашку! По-другому-то нельзя. Советская власть, она, брат, строгая! Узнает про фортель Степана — всех под ноготок! Очередью! И невестку, и старую сестру твою, и Митьку. И тебя, между прочим, за бороду уведут куда следует. Вот!

«В батраки попали к Осьмухину, пропади ты пропадом! В батраки при новой-то власти! Хитер Осьмухин... Хитер! А вдруг не хитрость это, а правда?»

Луке Павловичу стало жарко от такой горькой мысли. Он сплюнул в воду и, не зная, куда девать злые руки, схватился за весло.

— Не надо, дедушка, я сам! — услышал голос внука. Митьку не было видно из-за плотного тумана, только

его силуэт, но голос как-то сразу успокоил Луку Павловича, и он оставил весло в покое.

«В город надо Митьку, в город! Сразу после сенокоса пусть идет туда и присматривается к новой жизни. А если Осьмухин со злости и брякнет где языком про Степана, неизвестного парнишку не сразу в большом городе сыщешь! Если мне и Надежде переломит хребет Осьмухин, то насчет Митьки фигу с маком, Иван Тарасович. Он-то на тебя не будет батрачить!»

Лодка ткнулась в пологое дно. Митька выпрыгнул прямо в воду и потащил лодку к берегу.

«В другом месте бы пристать... Намочил штаны, паршивец, и обувь намочил. До обеда теперь не просохнет», — подумал дед, но говорить Митьке ничего не стал, не мог Лука Павлович остыть от горестных своих размышлений, не оставляли они его, застряли, как ржавый гвоздь в дубовой плахе — не вытащишь. «Врет все про Степана Осьмухин! Врет! Но как докажешь?»

Лодку Митька вытащил на сухое. Они собрали весь скарб — одежонку, литовки, харч — и пошли к стану.

Там горел костер. Осьмухины сидели около большой миски и деревянными ложками сосредоточенно хлебали уху.

— Поздненько, поздненько, Каленовы... — будто весело, а на самом деле с ехидцей заговорил Осьмухин. — Или петух не разбудил, или нету в доме петуха?

Лука Павлович промолчал. Он бросил на траву литовки и грабли, стал греть у костра руки. Митька, присев на тальниковую коряжину, снимал для просушки яловые поршни, а сам косил и косил глазом в ту сторону, где сидела Настя. Лица ее не было видно — его загородил чуб Осьмухина.

— А баб своих, Лука Павлыч, или не привез? — задержав на пути ко рту ложку с похлебкой, спросил Осьмухин.

— Не привез... Болеют они. Надежда совсем плохая, а сестра от старости на ладан дышит.

— А моя баба — деваха молоденькая?

— На покосе и от твоей жены проку немного. Зря привез.

— Понятно, Лука Павлыч. Значит, твои больные, а мои, как лошади, здоровые. Так выходит? Твой пай придется переиграть, Лука Павлыч, чтобы не обидно и по закону.

— Переигрывай,— отступающим голосом ответил дед и стал развязывать холщовую котомку с едой. Он достал хлеб, соленые огурцы, помидоры, кусок вяленой рыбы и, придвинувшись ближе к костру, разложил все это на тряпице.

Осьмухин еще некоторое время лениво плевался рыбьими костями в костер, потом, поболтав ложкой в остатках ухи, отодвинул миску в сторону.

Мотря Осьмухина, высокая и сутулая, поднялась от костра, взяла миску в землистые длинные руки, качнула ее раз-другой, будто сомневаясь в чем-то, сказала Луке Павловичу:

— Имеется у вас какая ни на есть посуда — слейте ущицу да похлебайте с парнишкой. Жалко выливать. Немного, правда, осталось ущицы-то, но ведь на вас и не готовили...

Митька от злого стыда низко нагнул голову, а Лука Павлович перестал жевать и стал смотреть на Мотрю. Он смотрел на нее долго, безотрывно, морщинистая шея и рябинки на лице стали наливаться краской, мохнатые брови грозно шевельнулись. Вот-вот бросится старик на Осьмухиных! Мотря попятилась назад от этого взгляда, выплеснула варево на траву...

Осьмухин сверкнул черным глазом на Мотрю, сказал по-хозяйски:

— Все, хватит! Подымайтесь косить, пока роса на траве лежит. Бабы пусть остаются балаган плести для ночевки.

Первым прокосом пошел сам Осьмухин. Сильный и ладный, косил он жадно, широко и легко — залюбуешься. Поплевав на ладони, приосанившись, за Осьмухиным пошел Лука Павлович, за ним — Митька, а следом — Гутька Репкин.

Широченный прокос сделали артелью и длинный, с полверсты. Когда пошли по второму разу, Митькина рубаха была уже мокрой и прилипала к лопаткам, да и дедова сатиновая косоворотка потемнела на спине. Тяжелая работенка — косьба — и веселая! Ах, как весело поют косы в молодой траве, как сладко поламывает в спине! Легко шагается Митьке по этой солнечной релочке! Такое чувство, будто ты на каком-то празднике, от которого в сердце, во всем молодом теле нескончаемо звучит хорошая песня! Он радовался, что увидел Настю,

и все его существо ликовало от ожидания чего-то необыкновенного и прекрасного. «Может, где-нибудь встретимся... Не будет же Осьмухин по пятам за ней ходить...»

Он вдруг вспомнил и Осьмухина и Репкина, и легкое, праздничное настроение сразу пропало, даже потускнело все перед глазами — и трава и небо. «Осьмухин — это понятно. Злой он... А почему Гутька запел его песенку? Ведь он всегда был славным парнем — Гутька... Добрым и веселым».

Митька услышал за спиной, совсем рядом, острое жиканье литовки и тяжелое дыхание Репкина.

— Шагай, шагай, Каленов! А то пятки отрежу!

Митька остановился, вытащил из кармана оселочек и стал подчеркнуто неторопливо точить косу.

— Ты, Гутька, почему взъярился?

Репкин тоже перестал косить, воткнул литовку черенком в землю и подошел к Митьке. От пота рыжий чуб его слипся, лицо блестело.

— А ты вроде не знаешь?

— Не знаю. Потому и спрашиваю.

— Я тебе напрямки скажу. Не умею вокруг да около. Перестань бегать за Настей.

— А кто тебе сказал, что я бегаю?

— Иван Тарасович. Он тебя не один раз с нею видел.

«Репкина натравливает на меня...» — равнодушно подумал Митька.

— А тебя сторожем Осьмухин к Насте приставил?

— Не твое щенячье дело, Каленов. Просто тебе еще рано о девках думать, молод.

Митька никогда не испытывал такой ярости, что внезапно охватила его сейчас. Он сжался в тугой комок и, коротко размахнувшись, ударил Репкина в челюсть. Удар был внезапным и сильным, Репкин охнул и грохнулся на траву. Митька испугался. Он растерянно топтался на месте, а Репкин лежал и злобно матерился.

— Ай да Каленов! Вот сукин сын! С виду цыпленок, а какого кабана срезал! Молодец. Уважаю ловкость!

Это Осьмухин. Митька и не видел, как тот подошел. Гутька поднялся, кинулся было на Митьку с кулаками, но на его пути встал Осьмухин.

— Э, паря, так нельзя! Надо было сразу. А после драки кулаками не машут. Полезешь — от меня трепку

получишь. Вас не уйми, целый день будете валяться в траве.

Осьмухин постоял, подумал и сказал:

— Пойдем-ка на стан, Гутька. А рядок твой Каленов докосит. Вдвоем вас сейчас нельзя оставлять.

Они уходили по стерне к стану, а Митька, нахохлившийся и внутренне опустошенный, будто переболел чем-то, стоял, дожидаясь, когда скроются Осьмухин с Гутькой. Потом он опустился на траву и тихо заплакал. Митька физически был силен, крестьянский труд закалил его тело, но он не мог чего-то понять. Рос он в доме, где поступками людей руководили участие и отзывчивость. Но вдруг внешний мир, чужой и непонятный, стал втягивать его, и хотя разум Митьки, сердце сопротивлялись и протестовали, все его представления о людских отношениях, о их доброте и отзывчивости стали неумолимо рушиться...

«Ах, елочки-метелочки! Как я его сильно стукнул...— с сожалением подумал Митька.— Лаялся Репкин. А Осьмухин даже обрадовался, когда я его так... Заодно с Репкиным, а обрадовался. Почему? Наверное, потому, что и сам бегаёт за Настей. А я ведь не хотел ударить Гутьку. Не хотел...»

Солнце поднялось высоко, стало припекать. Даже рубашка на спине казалась раскаленной. Утром травы пахли дурманяще нежно, а согретые солнцем, стали источать тяжелый влажный дух.

Митька поднялся, выкосил свой рядок, затем Гутькин. В теле не было прежней легкости, и работу Митька закончил устало и равнодушно.

Воткнув литовку в кочку, там, откуда они начнут косить вечером, когда упадет к закату солнышко, Митька медленно пошел по релочке. На стан, где сейчас собрались все, ему не хотелось идти. Он стыдился дедушки. Тот хоть и не видел, как он ударил Репкина, но Осьмухин ведь расскажет об этом Луке Павловичу, причем, наверное, так, что во всем виноватым окажется Митька.

«Вот сукин сын! С виду цыпленок, а какого кабана срезал! Уважаю ловкость!»

Попробуй разберись, что в этих словах — осуждение или похвала? Наверное, все же похвала... Осьмухин из-за Насти радуется. И на меня из-за Насти наговаривает. Хитрый Осьмухин...»

Митька вышел к самому высокому месту речки. Здесь было прохладнее. Шумели кронами ольха и рябина, в цветах ромашки и сараны стрекотали кузнечики. Он набрел на старую копешку сена. В прошлый сенокос поставили ее, да, видать, забыли и потеряли. Заблудилась она в рябиннике. А в весеннее половодье, когда весь левый берег далеко заливают водой, подмыло копну, и пропало сено...

Он споткнулся обо что-то, ковырнул в траве носком поршня и поднял старые вилы. Черенок у них был еще добрый, хотя и поседевший от сырости, а крайний рожок обломан. Осталось только два рожка, красных от ржавчины.

Человеком Митька был бережливым. В хозяйстве, учил его дед, так: без последнего гвоздя — дом не дом, без последней дратвинки — сапог не сапог. А последний гвоздь, последнюю дратвину найдешь всегда в самом неподходящем месте.

Он прислонил вилы к рыжему боку копны и по ним забрался на ее макушку. Разгреб там теплое сено, улегся поудобнее и, усталый, разбитый событиями дня, быстро заснул. Но сон этот был у него не крепким, будто не сон, а легкое забытие окутало все тело. Он явственно слышал и кузнечиковый стрекот в горячей траве, и шелест рябин на легком ветру, и попискивание какой-то пичуги.

Митьке вдруг показалось, что у него остановилось сердце. По далеко распростершемуся лугу, совсем маленькая на этом лугу, под огромным синим куполом неба шла Настя. На груди ее лежала тугая черная коса, на голове костром горел венок из саранок. Митька сжался и замер, боясь спугнуть это видение, но все равно оно скоро исчезло, оставив сожаление, что хорошие сны всегда бывают короткими.

Вдруг Митька испуганно встрепенулся и привстал на коленях. Он услышал голос Насти:

— Уйдите, Иван Тарасович! Кричать стану!

— Настюшка! Соболюшка моя! Ты у меня, — как заноза в сердце все время. Поизболелось оно по тебе...

— Уходите. Я утоплюсь лучше!

— Не утопишься! Женкой моей станешь, не захочешь топиться.

Митька свесил голову и увидел, как совсем рядом Осьмухин с красным лицом, потный, с растрепанным чубом, обхватив Настю одной рукой, другой пытается закрыть ей рот. Волосы Настины растрепались, а в больших карих глазах — отчаяние.

Словно горячий пар хлынул, обожгло Митьку, сдуло с копны. По-кошачьи гибкий, яростный, он прыгнул сверху на спину Осьмухину.

Катались в траве два человека, будто два зверя. Большой — жестокий и безжалостный Осьмухин — ломал, подмяв под себя, Митьку, не столь сильного, но смелого и решительного.

— Убью, щенок!

Митька в голосе Осьмухина услышал — убьет! Руки его нестерпимо горели, все тело болело от осьмухинских объятий. Но не от боли, а от голоса осьмухинского вдруг сжался тугой пружиной Митька и, опрокинув Осьмухина, спокойно сказал:

— Гади́на вы, Иван Тарасович!

— Убью!

Митька оторвался от своего противника; отскочил в сторону, к Насте. Растерявшаяся, она прижалась к копне, в глазах ее стояли слезы:

— Митя... Убьет он!

Рыча, бросился Осьмухин к Митьке, но тот увернулся, схватил ви́лы, крикнул:

— Подойдете еще — ударю!

Осьмухин ломился медведем. От ярости у него даже глаза покраснели. Сжав огромные кулаки, он подскочил к Митьке, но тот снова увернулся и огрел Осьмухина по красной шее черенком вил. Осьмухин взвыл.

— Бежим, Настя!

Около стана, где после обеда отдыхали косцы, Митька сказал:

— Ты оставайся. При людях он тебя не тронет. А я на хутор. Мне здесь уже нельзя.

Настя отстала. Митька, спустившись к воде, начал сталкивать лодку. «А дедушка как же? Осьмухин не захочет его на своей перевозить! Эх, елочки-метелочки! Была не была!» Митька разбежался и бросился в воду. Плавал он хорошо, легко доплывал от острова до хутора, но Осьмухин так наломал руки, что Митька и нескольких взмахов не мог сделать. Тогда перевернулся на спи-

ну, сложил руки на груди и поплыл, отталкиваясь ногами. «Дольше придется на спинке-то... и снесет далеко,— подумал он,— но там я по бережку скоро домой прибегу».

Холодная вода остудила тело, успокоила, и о том, что случилось с ним в этот день, он стал думать серьезно, по порядку, как умеют думать взрослые, умудренные опытом люди. «Дедушка про город говорил... Сегодня и уйду. Настю бы надо уговорить с собой. Замордует ее Осьмухин и дедушку замордует... Но Настя побоится ехать. Может, потом, когда уладится все... А от дедушки мне влетит. Осьмухин что-то нехорошее знает, сейчас не простит».

Когда Осьмухин приплелся на стан, там, кроме Мотри, никого не было. Репкин бродил около стариц, которых на левом берегу уйма, и дергал удочкой карасиную мелочь на уху. «А эти стервы небось собрание где-нибудь устроили,— зло подумал Осьмухин о Каленовых и Насте.— Совещайтесь, совещайтесь! А быть все равно по-моему!»

Он забрался в шалаш, где на травяной подстилке спала Мотря, из большой бутылки зеленого стекла налил самогону в оловянную солдатскую кружку и медленно, хотя и с отвращением, стал цедить сивушное питье через зубы. Он пил самогон, а сам одним глазом посматривал на жену. Сонная, с мертвенно-желтым длинным лицом, она задыхалась от густой духоты, что накопилась в балагане, раскрыла тонкогубый рот, обнажив неровные зубы.

И теплый, как суп, самогон, и нездоровое лицо жены, ее костлявое, высохшее тело вызывали у Осьмухина чувство омерзения. Он выбросил из шалаша порожнюю кружку, выругался про себя:

«Утопить бы эту лошадь проклятую или ладошку на морду сейчас положить! Дыхнула бы раз-другой — и все!»

Осьмухин думал про себя: ему — мужику красивому, разворотливому и умному,— ему в жены не эту вот скрюченную клячу, что по-рыбы хватает ртом теплый воздух, а молодую женку и красивую, чтобы радость от жизни была и дети чтобы были. В деревне, на худой конец, можно подыскать подходящую. А ему не надо никого, кроме Насти. Она видная деваха и послушная.

Сила в ее теле здоровая, молодая. Работать умеет... Осьмухин представил Настю своей женой, и сердце его зашлось. «Румяный пряник — эта девка, но и орех крепкий. Крепкий орех! На все пойду! И не буду Иваном Тарасовичем Осьмухиным, если не добыюсь своего! Молокососы! Не отстают от девчонки,— снова наливался ненавистью Иван.— Но с ними все равно просто. Надо сравить их крепче, и когда кто-то из них лоб другому расшибет или шею свернет, второго, как котенка, самому...»

С этой мыслью Осьмухин уснул около своей Мотри и не слышал, как к балагану подошел старик Каленов, быстро собрал свою котомку и так же бесшумно, как появился, исчез...

Когда Настя пришла на стан, Лука Павлович, глянув на нее, сразу заподозрил что-то неладное. Но при Мотре как спросишь? И он схитрил.

— Давай-ка, Настенька, по дровишки сходим до вечера. А то в темноте да с устатку неохота будет.

Он отвел девчонку подальше от стана, в ракитник, и, пытливо рассматривая, спросил:

— Ты скажи-ка мне, что это с тобой стряслось? На тебе же лица нет!

Настя доверчиво уронила голову старику на грудь и бессильно заплакала. Кое-как Каленов успокоил ее, и Настя, по-ребячьи всхлипывая, рассказала ему все.

— Ах ты, ядрено копыто! Заварил, стервец, кашу!

— Не ругайте его...

— А я разве ругаю? Молодец, говорю. Так их, кобелей, и учить надо!

Настя, схватив руку старика, упала перед ним на колени.

— Дедушка, возьмите меня к себе! Не могу так больше! Утоплюсь...

— Встань с коленок-то! Встань, кому говорю! Я тебе не поп и не икона писаная.

Старик озадаченно почесал кудлатый затылок, бороду, из которой торчали травинки, некрасивое рябое лицо насупилось, и Настя испугалась: «Не возьмет!» Но вдруг глаза старого Каленова подобрели:

— И то! Ты думаешь, я в этом деле совсем не кукареку? Поехали! Семь бед — один ответ! Только ты дожидись меня, я котомку свою выкраду и литовочку...

— Дедушка!

Настя снова заплакала, но уже облегченно, от радости, и дед, тоже счастливый оттого, что доставил девочке эту радость, заморгал глазами, потом застеснялся своей слабости, нарочито посуровел:

— Ну-ну! Чего нюнить-то! Известное дело, нельзя тебе в этом староверском скотнике жить. Ни за што ни про што за Можай загонят эти мерзавцы!

Лука Павлович не заставил себя долго ждать. Очень скоро его старенькая рубаша заголубела в кустарнике, и Настя побежала ему навстречу. Осторожная, как звсрушка, и счастливая. Как хотелось ей побыстрее уехать с этого проклятого покоса! Она сегодня окончательно поняла, что оставаться с Осьмухиными ей нельзя. То, что до сих пор как-то еще скрывали: осьмухинские женщины свою глухую неприязнь к Насте, мужчины — увлечение ею, — здесь, на сенокосе, обнажилось вдруг до бесстыдства.

Сегодня в полдень, когда Осьмухин и Репкин вернулись на стан и принялись за еду, Настя почувствовала на себе взгляд хозяина. И Мотря и Репкин увидели, как загорелись, повлажнели его красивые глаза, когда смотрел он на девочку.

Насте стало не по себе и от бесстыжего взгляда Осьмухина, и оттого, что все увидели, как плохо он смотрит на нее. Она молча поднялась и пошла в луга.

— Куда же ты? — крикнул ей вслед Репкин.

Она даже не оглянулась, но услышала, как Мотря прошипела:

— Блудня! По своим делам и пошла.

— Молчи, коряга! — крикнул на жену Осьмухин. А когда Гутька поднялся, чтобы побежать за Настей, заорал и на него: — Ты тоже прижми свой хвост! Работать небось приехал, а не за девками бегать!..

...Уложив немудреные пожитки, старик и Настя сели в лодку. Лука Павлович засмеялся:

— Это мы с тобой вроде как из плена бежим. Я в германскую тоже вот так... Только на бревне.

Настя улыбнулась, посмотрела на старика признательно. «И правда, из плена... — подумала она. — Только надолго ли? Осьмухин ведь не отступится...»

Дед греб тонкими веслами упругую воду, она звенела, переливалась солнечными бликами, и эти блики иг-

рали в Настиных сережках, нежно касались смуглого лица, карих глаз, ярких губ ее, и дед, заглядевшись на красоту Насти, подумал про себя с радостью и тайным удовлетворением: «Какую королеву этому непутевому прынцу везу, а! Ай да Каленов-старик, ядрено копыто!»

Настя сидела на корме лодки, смотрела, как, увеличиваясь, приближается к ним Каленов яр, улыбалась краешком губ. Она давно думала, что очень красивое место выбрали для своего домика Каленовы, высокое, солнечное, но вот с реки она увидела это впервые. Отсюда яр был еще красивее, будто на какой-то хорошей картине. Дом Каленовых со всеми хозяйственными пристройками, банькой на берегу, перевернутой старой лодкой казался крохотным рядом с огромным, загадочным и гордым утесом. Он поднялся, словно старик над рекой, и отгородил Каленов хутор от осьмухинской усадьбы. Потому что они совсем разные — усадьба и хутор. С одной стороны яра, ниже по течению реки, будто горсть игрушек бросили в игрушечный лес из березы и липы — это хутор Каленовых, а с правой стороны, на голом месте, около дороги, будто черная крепость поставлена, — это осьмухинская усадьба с высоким забором из лиственничных жердей, с амбарами, конюшней, бревенчатой стайкой для коровы и мелкого скота.

Настя вздохнула, глянув на дом, где ей пришлось испытать столько горя, унижения, где кругом — лицемерие и нечеловеческая жестокость.

В ее жизни ни одного дня не было счастливого. Рано умерла мать. Отец с горя запил и пил до тех пор, пока от беспробудного пьянства не сошел в могилу. Слабым был человеком портняжных дел мастер Андрей Колосков, но честным и добрым.... А в доме Осьмухиных даже близкие по крови и своим делам люди никогда не знали сострадания друг к другу. Сгубят кого угодно за понюх табаку и «ох» не скажут...

...В конце февраля, на сплошную седмицу, рано утром в ставню дома Осьмухиных постучал их дальний родственник Трифон Рублев. Жил он в станице и шел в город, чтобы продать племенного комолого быка. Тот стал вялым к делу и злым.

Трифона осьмухинские приняли радушно. Быка спустили с цепи во двор, а гостя чуть ли не под руки ввели в дом. Хотя день был постным, поставили на стол и вареное мясо, и сметану. Трифон Рублев был неверующим.

Хозяин дома и гость много ели, много пили, и когда Трифон совсем размяк от самогона и сытой еды, Осьмухин начал закидывать удочку насчет того, чтобы Рублев продал быка ему, по-родственному, по дешевке.

Хоть и пьян был Трифон, а сразу сообразил, что хочет надуть его гостеприимный родственничек.

— Нет, Иван Тарасович! Извиняйте! Мне деньги нужны. А такие дорогие подарки я и отцу с матерью не дарил.

В красной рубахе, чернобородый Осьмухин льстивым чертом кружил около стола, подливал Трифону самогон, подкладывал жирные куски на его тарелку, а все равно гость упорно не хотел сдаваться.

Но сделал свое дело самогон. Гость окончательно раскис, смотрел на хозяина тупо, видимо не соображая уже, о чем он его просит, потом стал клевать носом и заснул.

Осьмухин вышел из дома, постоял на крыльце, наблюдая, как рублевский бык, уткнувшись в угол двора огромной комолой мордой, жует сено, потом осторожно, на цыпочках стал подкрадываться к нему сзади.

Настя и жена Осьмухина смотрели в кухонное окошечко, как подбирается к быку хозяин дома, как тот, повернув лобастую голову, уставился свирепыми глазами, и Настя, предчувствуя беду, испуганно прошептала:

— Зачем это он? В красной рубахе, пьяный...

В глазах Мотри будто мстительный, зловещий огонек зажегся. Настя еще больше испугалась, увидев Мотрину кривую улыбку и насторожившийся жесткий взгляд.

— Ничего ему не сделается! А сделается — наука будет. Не лезь к бугаям пьяный и в красной одежке!

Неожиданно быстро и легко, откуда только такая ловкость взялась в могучем теле животного, бык крутнулся на месте, мордой к Осьмухину. Мгновение они оба стояли не шелохнувшись, потом Осьмухин побежал. За ним помчался разъяренный бык, нагнув голову, раздувая ноздри, разбрасывая пену по двору.

Настя испуганно охнула и посмотрела на Мотрю. Нет, не жалость была в ее лице и прищуренных глазах,

не испуг и не отчаяние, а только злорадное любопытство, будто не человек убегал сейчас, задыхаясь, от страшного животного и не ее муж.

Осьмухин и накаленный звериной яростью бык уже два раза обежали двор. Хлопья пены из поздрей бугая падали сзади на рубашку Осьмухина, с минуты на минуту должна была произойти ужасная развязка. Но тут случилось неожиданное.

В дальнем углу двора, неподалеку от скотника, когда-то давно вывалилась из забора сухая жердь. Комлевый конец ее, замытый в землю дождями, остался на внешней стороне, а вершинка, на высоте полутора метров торчала во двор. Осьмухин не стал убирать жердь, сушил на ней сбрую и попону.

Когда казалось очевидным, что животное нагонит и убьет человека, тот кинулся в угол двора, откуда торчала жердь, оттолкнувшись от нее, взлетел на забор, а разогнавшийся бык не успел остановиться, всей тяжестью огромного тела упал грудью на жердь и пронзил себя насквозь так, что конец жерди вышел из-под левой лопатки. В судорогах животное скоро затихло, усталый Осьмухин слез с забора и, даже не глянув на свою жертву, медленно пошел к дому. От омерзения и ужаса Настя заплакала, а Мотря усмехнувшись, спокойно сказала:

— Чего это расквасилась? Кто ему, дураку, велел бегать? Жрал бы сено да стоял, где поставили.

Настя посмотрела на хозяйку и подумала, что если не бык, а Осьмухин кончил бы вот так же, точно такие же слова могла сказать Мотря.

Когда Трифон, проспавшись, вышел во двор и увидел в луже крови мертвого своего быка, то завопил так, что в деревне, наверно, было слышно:

— Убили-и!

Мотря, стоявшая вместе с мужиками, сочувственно охала, хлопала по тощим бедрам руками, а Осьмухин сказал:

— Кто убивал-то? Не видишь разве, сам на жердину залез! Ты же говорил, что бешеный он у тебя. Не надо было дураку цепь из кольца вытаскивать.

— Что бабе скажу?— плакал пьяными слезами Рублев.— Дом хотели поправить!

— Продай. То на то и выйдет. Мясом продай...

В усадьбе Осьмухиных все были под стать хозяину —

жадные, злые. Настя подумала: «За версту буду обегать Осьмухиных. Что бы ни случилось в новой жизни, а хуже не будет...»

Лука Павлович перестал грести и, показывая на берег, спросил:

— Посмотри, Настенька, кто это на берегу? Не Митька ли наш?

Настя, приложив козырьком ладошку к глазам, увидела, что на косогоре, в молоденьком березнячке, мелькает Митькина рубашка.

— Ишь как чешет-то, а! Шустро! Понаделал разных делов и улепетывает во все лопатки, заячья душа!

«Нет, не заячья душа у Мити...— ласково думает Настя.— Если бы не он, сломал бы меня Осьмухин. Молоденький он совсем и добрый... Может, он любит меня?!»

Днище лодки зашуршало по галечнику. Дед вылез на берег, поддернул лодку, сказал:

— Ты беги, дочка, домой. Захвати кое-какое барахлишко свое — и ко мне. А я пока своих упрежу...

Лука Павлович не стал забирать из лодки весь скарб. В гору тяжело подниматься. Потом внука пошлет сюда. На их берегу хоть на всю ночь драгоценности оставляй, до самой деревни, кроме них, ни души. Взял дед литовочку, закинул за плечо и не спеша пошел в гору. «Кажется, зря я девчонку домой послал,— кольнуло сомнение,— вещей у Насти — у расстриженного подъячего больше, а наговорить Осьмухины все что угодно могут... Обворовала, мол, их Настя — и все тут». Он хотел было свернуть на ту тропинку, по которой ушла Настя, но тут увидел, что на горке, кутаясь в теплый платок, стоит, поджидает его невестка.

— Быстро что-то вы, Лука Павлович,— грустно улыбнувшись, сказала Надежда.— И дня не прошло, как сенокос закончили...

— Так вот закончили...— дед остановился, положил к ногам литовочку, не торопясь стал вытирать пот с лица. Не знал, как и начать разговор с невесткой.— Митька-то небось рассказал что-нибудь?

— Все рассказал... Что делать-то теперь?

— Что делать? Думаю, что все по-своему надо теперь.

Не хочу перед смертью в осьмухинской узде ходить и Митьку не дам запрягать.

— А как же Степан?

— Посмотрим. Я еще и сам не знаю, но кажется мне, что врет все этот дьявол! Не может мой Степан такое учудить. Или может? Ты же небось не хуже моего знаешь Степашку...

— Не может. Твердый он.

— Ну, вот. Так и порешили. Ты хоть знаешь, что я Настю украл у осьмухинских и увез с покоса?

— Бог с тобой, Лука Павлович!— Надежда, будто наваждение хотела отогнать, замахала рукой.

— Факт! Испортит Осьмухин девчонку, как пить дать. А там еще этот жеребец, Гутька Репкин, удила к ней рвет. Добром это не кончится.

— А мы-то здесь при чем?

— Как при чем? Или ты не видишь, что Митька наш Настю любит? Не побоялся сразу против двоих стать! То-то! Вот возьмем женим Митьку, и вся недолга!

— Опомнись, отец! Он же мальчик еще, он же мышей еще боится...

Митька и правда при виде мышей приходил в брезгливый ужас. В прошлом году летом он пас Изметку на лугу около дома и нечаянно заснул на траве. Под рубашку к нему забралась рыжая полевка. И Митька, бросив лошадь, прибежал домой чуть не плача.

Дед вспомнил это, засмеялся:

— Ничего! Жена — не мыш. Никто еще молодой жены не убоялся... Мальчик, говоришь? А Осьмухина-ирода поколотил? Я сам таким был. На семнадцатом годе женился, потому что в хозяйстве нужен был работник, отец слег. А сейчас я землю носом ковыряю. Степана нет, ты хвораешь...

— Но ведь нельзя Мите дома оставаться... Изведут его.

— А мы Митьку в городе на время запрячем. У родственницы Генераловой поживет. Она хоть жадная — сор не на улицу, а в передний угол метет,— но Митьку сохранит до поры до времени... Может, на лошадку в городе заработает. Без лошадки — труба. Коровенка у нас старая, а две овцы и пять уликов все равно что очкур на бесштанном кавалере, вроде бы и одежда, и все равно голый! Потом я так соображаю, Митька парень моло-

дой, а город большой. Заблудиться там нетрудно. Оторвался от земли — и понесло ветром! А тут молодая жена останется. Попробуй оторвись!

— Митю не понесет ветер. Не ветреный он. Мать же у него тут останется...

— Мать — матерью, — гнул свое свекор, — а с женой вернее будет.

Чувствовала Надежда, что правильные слова говорит Лука Павлович, но слишком суровые. «Муж потерялся на войне, теперь вот сын должен уйти неведомо куда... Проклятье, а не жизнь!» Она шла к дому рядом со свекром и кончиком жесткого платка терла мокрые глаза.

— Перестань, Надежда! — приказал Лука Павлович. — Никому не легко. Что будет, если всем хутором враз замокреем!

Митька их встретил у калитки. Серые глаза виновато смотрят, но прямо, не вихляют туда-сюда... «Молодец, Митька, не побежал со своей виной прятаться. Мужик!» — подумал дед и внуку сказал:

— Ну, что Митель-канитель, говоришь, войну объявил Осьмухиным? — старик потрепал ласково Митькины кудри широкой ладонью. — Ах, Аника-воин! Войска-то у нас с тобой жидкие. Ну, да не робей, молодец!

Надежда уже распоряжалась в беседке у стола. Резала редиску в квас, холодный картофель, лук. Сняла с гвоздика из-под крыши дома янтарный балычок лещика. Дед, умытый, причесанный, сел на березовый чурбачок, прижал к груди пшеничный каравай, стал рыбацким ножом отрезать большие пахучие ломти хлеба — себе, Надежде, Митьке... и еще такой же большой.

— Бабушку позвать? — глядя на четвертый ломоть, спросил Митька.

— Не надо. Пусть хворает себе в доме. Ешь квас, Дмитрий Степанович, и слушай, что говорить буду. Слушай, на ус мотай.

Дед на время положил ложку рядом с собой, разгладил усы, бороду.

— Сперва загадку тебе, Дмитрий Степанович, скажу. Смекай, что к чему... Захотел казак жениться, а невесты нету. Летает казак на своем буйном коне сюда тыщу верст, туда тыщу верст, скачет — ископыт из-под коня летит, искры огненные. На росстани, где дороги

в разные стороны, встретился молодцу древний дед. Говорит: «Знаю, казак, жениться хочешь, невесту ищешь. Будет тебе хорошая женка. Краше не видел, не видел смиреннее и работающее. Только на этой росстані дорогу правильную найди. Одна из них — на посад белокаменный, другая — на храм божий, третья — на восход, в вольное поле». Смекнул?

«Давно уже о городе дедушка поговаривает. И сейчас на город намеки делает. Куда же после всего, если не в город...»

— Посад!

Так случилось, что именно в эту минуту Настя пришла к дому Каленовых и, услышав разговор в палисаднике, в нерешительности остановилась. Митькина мать заулыбалась, слезы на глазах засеребрились, засмеялся весело дед: «Судьба. К удаче так случилось».

— Ну, ядрено копыто! Будто в сказке! Везучий ты, видно, казак, Дмитрий Степанович! Правильно отгадал — и на тебе!

Недоуменный Митька вспыхнул огнем от радости. «Елочки-метелочки! Откуда ты такая взялась, Настенька? — первый раз про себя так ласково назвал он Настю. — Вот, значит, для кого дедушка хлеб резал!»

Лука Павлович и Надежда хлопотливо усаживали Настю за стол, а Митька во все глаза смотрел на нее и молчал. Сердце его готово было вырваться из груди и улететь в поднебесье.

— Ты, Дмитрий Степанович, не смотри так на девушку. Не стесняй ее, — подмигнул Митьке дед. — Еще насмотришься. Настя теперь к нам насовсем.

— Как?

— Вот так... Ушла она от Осьмухиных.

— Правильно. Еще тогда надо было...

— Знаем, что правильно. Только из-за этого большая свара может быть. Ты, Дмитрий Степанович, мужиком становишься, и потому я тебе сейчас кое-что расскажу напрямки. Осьмухин кашу густую может заварить. Расхлебывать нам всем, а тебе, может быть, больше всех... Мы все скрывали от тебя с матерью, думали, обойдется, но шила, выходит, в мешке не спрячешь...

Надежда робко запротестовала:

— Может, не надо, Лука Павлович...

Отмахнулся дед:

— Оставь. Дмитрию новую жисть начинать. По-сурьезному. А в потемках по-сурьезному только в кошки-мышки играют. Значит, так... Наверно, помнишь, Дмитрий, как твой отец — Степан Лукич — на войну уходил? Сам ушел, не по приказу и не по найму! Долю свою воевать. И Осьмухин тогда был призван. Весточки редко отец твой присылал. Видно, не до того было... А как вернулся Осьмухин, сказал по секрету, что переметнулся Степан Каленов к белым и удрал с ними за кордон. Вот почему мы к Осьмухину на крючок и попали. Предупредил, что в любое время может сказать о Степане кому следует. И нас всех — очередью! А мы, видишь ли, взбунтовались, войной пошли. Ты вот на покосе сечь устроил. Не простит теперь Осьмухин...

Лука Павлович замолчал, и за столом стало вдруг тихо-тихо. Сразу все услышали, как березы трепещут листочками, как куры спорят из-за червяка, как под стрехой сарая ведут семейные свои разговоры ласточки.

— Чего же молчишь? — не выдержал Лука Павлович. — Про твоего отца разговор или нет?

— Вы сами-то верите Осьмухину?

— Видишь ли...

— Нет, вы сразу. Верите или нет?

— Не верю!

Митька вздохнул облегченно:

— Ну вот... И я не верю... Осьмухин сказку эту придумал и всех вас запряг в свою телегу.

— Резонно. Ай да Дмитрий Степанович!

Настя, молчавшая до сих пор, заговорила тихо, еле слышно:

— Помните быка рублевского? Правда, не велели говорить, но сейчас я скажу. Осьмухин этого-то быка на жердь заманил, я видела.

— Ну и дьявол! Чисто дьявол! — охнул дед. — Может, и нас на жердь хочет нанизать — точно!

— Страшный он... — сказала Надежда. Она отрешенно сидела в стороне, куталась в серую шаль, и лицо ее было безжизненным, только глаза в темных глазницах горели лихорадочным огнем.

У Митьки от жалости заныло сердце.

— Шли бы вы, мама, в дом. Ведь совсем больная...

— Ничего... Мне с вами лучше. Посижу, послушаю.

— А что тут слушать! Все и так понятно, — дед под-

нялся из-за стола.— Дмитрий пусть собирается в город от греха подальше, а Настю мы тут не дадим в обиду.

— Как же я уйду? А сенокос? Не накосили мы сена.

— Без тебя управимся. Много ли надо коровенке и овечкам? По травинке насобираем!

Стало смеркаться. На западе, где только что поверх берез полыхал закат, набрякли фиолетово-черные тучи, воздух повлажнел, будто густым стал, но прохлада не пришла, сникли в парном воздухе листья деревьев, и птичий гомон стих. Утомленная земля готовилась ко сну.

— Пора, кажется, и на покой...— дед подошел к Надежде, взял ее под руку, помог подняться.— Пойдем, Надюша. Ребята со стола уберут да посидят одни по молодому делу-то...

Они ушли. Настя принялась мыть посуду, а Митька отошел к забору и стал думать о том, что случилось сегодня с ним и Настей и со всей каленовской семьей. Вся его коротенькая жизнь на хуторе текла ровно и спокойно до сих пор, словно речка в хорошую погоду, но в один час заштормило, подуло прямо в сердце зябким ветром, закачало на волне, кажется, не спасешься, потому что впереди, он почувствовал это сегодня, на много верст и на много лет шторм похлеще, и ветер порезче. Как убережешься в этой непогоде?

Подошла Настя.

— Ты про что думаешь, Митя?

— Про все. Про маму, про дедушку, про тебя...

— Все обойдется, все будет хорошо. Вот увидишь. Ты же ведь сильный!

Это были простые слова, которыми обычно успокаивают, но и в самих словах, в интонации, какой они были сказаны, теплилось столько доверительности, что Митька невольно потянулся к Насте, притронулся ладонями к плечам, на мгновение сжал их осторожно и ласково.

— Ну и ладно... Значит, так и станет, как ты сказала...

Он застеснялся своего порыва и, чтобы скрыть смущение, заговорил о другом:

— На берег надо спуститься, лодку подтащить и одежду кое-какую забрать домой.

— Я помогу тебе!

Настя взяла его под руку и, чтобы не упасть на крутом и сыпучем спуске, прижалась к Митьке горячим

телом, а у него от этого в голове пошел ликующий колокольный звон.

— Это хорошо, что ты с нами теперь будешь жить.

— Почему?

— Не знаю. Не умею сказать...

— Конечно, хорошо, Митя. Но тебя же не будет...

— Я ненадолго. Не люблю его, город.

— Не любишь, потому что не знаешь. А узнаешь — не захочешь вернуться на хутор.

— Вернусь. Я не смогу долго без хутора...

Он хотел сказать, что не сможет там без нее, без Насти, но застеснялся и замолчал, хотя она тонким женским чутьем поняла все, что он не договорил.

— Ты напишешь мне из города?

— Я всем напишу.

— Нет, мне отдельно напишешь?

— Грамотей я плохой. Три года всего в школу ходил. Закрыли потом школу из-за войны.

— А ты как умеешь, Митя. Ладно? У меня грамоты тоже не очень много...

Они спустились к лодке и так, прижавшись друг к другу, замерли от неожиданности. Из туманного речного сумрака вынырнула осьмухинская лодка, в которой сидел в гребях Гутька Репкин. Лодка пристала к берегу, Репкин вынул весла из уключин, сложил их по бортам. Хотел выйти на берег, но, обернувшись, увидел Настю и Митьку.

— Вот те на! Здрасьте! Мое вам!

Ошеломленный, он некоторое время рассматривал их, потом искусственно засмеялся.

— Ты зачем приехал?— сухо спросил Митька.

— Приехал, значит, надо. Не думай, что на тебя, красавца, посмотреть. Между прочим, Иван Тарасович велел всем ехать на покос. Кто за вас сено будет ставить?

— Скажи своему Ивану Тарасовичу, что никто сено ему ставить не будет.

— Как это не будет?— озадаченный Репкин привстал в лодке.— Что, и Настя не поедет?

— И Настя.

— Дела... А ты почему вместо нее отвечаешь? Пусть сама скажет.

— Не поеду,— тихо, но твердо сказала Настя,— передай Осьмухину, что и жить у него не буду.

— У кого же ты станешь жить?— с издевкой спросил Репкин.

— Тебе-то что до этого?

Голос Репкина дрогнул и стал серьезным:

— Дурная... Я же добра хочу... Просто так и не поехал бы. Ты думаешь, у них будет лучше? Иван Тарасович рассказывал. Отец у Митьки сейчас спиртоносит, ханжу из-за кордона таскает.

— Осьмухинские песни поешь!

Митьку проняла внезапная дрожь от несправедливых слов Репкина. Он подошел к лодке, неожиданно резко и сильно приподнял нос ее и толкнул далеко в речку.

— Катись!

Репкин взмахнул руками и упал на мокрое дно. Пока, балансируя, усаживался на седулку, ругаясь на чем свет стоит, прилаживая весла, быстрое течение отнесло лодку далеко. Каленов с Настей, растворившись в темноте, поднялись на яр, откуда не было видно Репкина, только слышалась его брань:

— Коломазью ворота проклятым вымажу!

Настя уже успокоилась, и ей стало весело оттого, что Митька так ловко отделался от Репкина и тем самым прекратил пустой и неприятный разговор, который, кто знает, чем мог бы кончиться.

— Рожу бы свою нахальную вымазал,— засмеялась она.

Митька тоже сразу же забыл обо всем, он вообще не умел копить в себе зло, а тут рядом Настя была, слышался ее теплый, как речка, звонкий и счастливый голос.

— У нас сроду и ворот-то не было. Зря грозитя. А может, и не зря. Осьмухин научит — на все этот дурень пойдет...

Настя остановилась и попросила:

— Обожди, Митя. Устала я. Давай под березкой передохнем...

Из-за яра выкатился месяц и, цепляясь рожком за вершины деревьев, побежал к ним, и все вокруг: сквозная крона старой березы, кустарники, каждый стебелек высокой травы, спрятавший их, редкие крупные звезды на непроглядном низком небе и тонко очерченное лицо Насти с черными, незнакомыми сейчас глазами — все стало неузнаваемо прекрасным, как в захватывающей сказке, когда и не веришь этой сказке, до частого сердеч-

ного стука робеешь перед ней, а все равно страдаешь оттого, что волнующая сказка эта может скоро кончиться.

— Настя...

Он не знал, что хотел сказать ей, просто непроизвольно произнес ее имя, и оно прозвучало естественно, само собой, как сами собой появляются слезы на глазах счастливого человека и счастливый стои вырывается из его груди.

— Ты плачешь, Настя?

— Нет, это роса. Мне хорошо...

Он почувствовал, как под рукой часто и тревожно бьется жилка на виске Насти, уловил, что лицо ее пахнет горячим солнцем, рекой, знойным ветром, который несет с собой аромат покосных трав. В эту минуту ему даже неловко было, что так неукротимо громко, беспокойно и больно стучит его сердце, на весь мир, на весь белый свет...

Смятенный от близости Насти, от ликующего звона в груди, оттого, что так непонятно пьяняще пахнет солнцем и цветами ее лицо, он закрыл глаза, а Настя, тронув Митькины волосы, робко и неумело поцеловала в губы.

— Любимая!..

Он даже слова такого никогда не знал. Откуда только и взялось оно, незнакомое и прекрасное! Из сердца, видно. Потому что там хранятся самые заветные, самые необходимые в жизни слова, ласковые, нежные... И человек даже не подозревает этого, потому что слова эти заветные не подвластны человеку. Сердце само распоряжается ими.

Друзья

— Надо, пожалуй, этого парня переводить в тринадцатую...

— Вы о Каленове? Жаль. Красивый человек.

— Красоты в нем немного. Курносый, большеголовый.

— Он чем-то неувловимо красив... Надо подождать с переводом.

— Вот, дорогой коллега, и подводится черта вчерашнему нашему спору. Естественный отбор — чушь! Есть

рок. Судьба. Эта сумасбродная старуха не разбирает, кого одаривает бриллиантами, кого ввергает в нищету. Биологически и физически непригодный остается жить, а вот ваш молоденький спартанец должен погибнуть. Это естественный отбор?

— Это случай. Не спешите. Если верить вашей теории, то возможно и чудо.

— Чуда не бывает. У него относительно здоровая только спина. Появятся пролежни на спине — и все!

— К нему приходили?

— Да. Рябой старик. Не пустил.

— Напрасно. Вы же сами говорили, что сейчас все равно.

— Пожалел нашатырный спирт. Этот несчастный и без того еле держался на ногах.

— Кто он?

— Отец или дед, кажется. Еще ходит одна. Хороша! Эту завтра пушу. Пообещал. Она тоже, кажется, из спартанцев.

Митька чувствовал, что разговор этот касается его, и хотя не был знаком с больничными порядками, почему-то знал: тринадцатая палата — это та, из которой никто не выживал. Но все его существо, как губка водой, пропиталось равнодушием к своей участи и к тому, что говорят сейчас лечащий его доктор Сомов и по-офицерски подтянутый старший врач Белозерский.

Митька закрыл глаза. Сосед по палате закачался, как маятник, скрипнул зубами и ломким мальчишеским дискантом сердито зашептал:

— Сволочи и палачи! Будто на митинге. Все слышно. Скажу, чтобы завтра прикусили языки.

— Не надо...

— Почему?

— Так веселее.

— Нашел веселость. Чудак. Они же, черти, про нас с тобой разговаривают. Не догадываешься? Биологический и физический — это, например, я.

— А я?

— По-честному?

— Валяй.

— Сомов говорил... Да. По-ихнему — дело швах!

— Откуда ты знаешь?

— Год среди этих стен. Я, кажется, знаю теперь все,

что врачи знают. Я знаю, что они едят и пьют, сколько у них детей, сколько раз поругались с тещей. Стеночка-то из филенки, а они, дураки, забывают.

Стенка, отделяющая палату от ординаторской, действительно была очень тонкой. Здание больницы старое, переоборудованное из какого-то богатого жилого дома, неприспособленного под больницу, и когда в ординаторской собирались врачи, «в тяжелой» палате было слышно все, что там говорили. Как-то в ординаторской спохватились, решили эту палату перевести подальше, но не сделали этого. Лучше, когда тяжелые находятся под рукой, а потом ведут они себя тихо. Легкие больные недугу своему часто сопротивляются безрассудно, буйно, неосторожно выбрасывая на борьбу сразу все силы, а тяжелые — капельки оставшихся сил растрачивают экономно и молча.

— Притерпелся к боли и молчишь, — сказал как-то сосед Каленова. — На матушку-смерть ведь не прикрикнешь. Она живо — за шиворот и в ящик! Так что скрипи плавниками и вежливо помалкивай.

— Значит, швах?

— Зря я тебе сказал. Ведь ты про молодого спартанца и не запомнил. Ты хоть знаешь, что такое спартанец?

— Нет.

— Темнота! Спарта — это такое государство. Там сохраняли только сильных и полноценных. Воспитание специальное было. Суровое. Дохлатина — в море! О тебе сказано — полноценный. Обо мне — биологический. Сам этот хрен — полноценный биологический мерин! Ну, старая тыква! Я тебе все еще выскажу!

В палате тяжелых больных только две койки. Сосед Митьки, Алексей Кузькин, бывший взводный командир-пограничник, щуплый, с козлиной растрепанной бородкой, с изболевшимися глазами святого, откровенно презирал своего доктора, армейского хирурга «из старых» — Белозерского. Кажется, он всех на свете докторов ненавидел, как, впрочем, и они не скрывали усталости от Кузькина и своей неприязни к нему. Кузькин обо всем судил с невозмутимой прямолинейностью. Так уж был устроен этот похожий на черного жука человек — прямой и до бестактности язвительный.

Год назад Алексей Кузькин со своим взводом гонялся по тайге за контрабандистами и спиртоносами. В од-

ной вооруженной потасовке бандиты его подстрелили и понесли с собой за кордон. По дороге Кузькин совсем «скис» от потери крови, его бросили у самой границы в снег, всадив в тщедушное тело «пару горячих» из карабина. Товарищи привезли взводного в госпиталь обмороженным и без признаков жизни.

Маленький Кузькин выкарабкался «прямо из могилы», но уже без правой ноги, с тяжелым прострелом и воспалением легких, завершившимся чахоткой. Всем казалось, что человек обречен, что слабенький огонек в тонкой лучинке погаснет, но Кузькин «скрипел и скрипел плавниками», хотя к страданиям, к которым уже привык, прибавились новые — пролежни на спине.

— Я знаю, что за этот год своим живодерам надоел до чертиков. Ясный день. От меня вонища на версту. Милосердная не только нос — уши затыкает. Но кто же виноват? Я спрашиваю, кто виноват, Каленыч? Кто им велел из покойника человека делать? Из лазарета я выйду. Ясный день. Уже принципиально. Но кому я нужен с чахоткой, с драным горбом, да еще когда штаны не на что надеть! У меня родни-то всего один братья-теньки где-то двоюродный, да и то сволочь. В богадельню? Там тоже не мед с молоком... Я жениться хотел, Каленыч. Вот видишь, какого жениха из меня сделали. Спиртоносники, кол им в задницу, справедливее, ясный день. Они хоть пристрелить хотели, если не годен никуда.

«Дедушка приходил... Хорошо, что доктор не пустил. На меня сейчас небось смотреть страшно...»

В ординаторской голоса стихли. Врачи или ушли, или, заинтересованные злым шепотом Кузькина, слушали, как он на чем свет стоит поносит их.

— Кузькин плохо замешен, ясный день, да круто испечен Кузькин! Жить хочу! Мне же двадцать пять только!

— Чего же ругаешься. Лечат тебя...

— Знаешь, Каленыч, от злости. Специально себя подзуживаю, чтобы не задохнуться в этой коросте.

— А доктора зачем зудишь, сестру?

— Тоже расчет, Каленыч. Чтобы никаких мне поблажек, никакого снисхождения. Выдюжу, — значит, жить буду. В пеленочках да с соской и недоноски выживают. Но ведь и ненадолго. Недоносок — он и есть недоносок.

— Чудной ты, Кузькин...

Эту реплику сосед принял как похвалу.

— Ясный день! И тебя научу. Слушай, дело твое прокислое, ты это и сам понимаешь. Тут уже горелый был. Да не такой, что ты! Легше. А духом хлипкий. Не выдюжил! А ты обозлился! Обозлился, чтобы внутри пекло!

— Да и так печет...

— Нет, чтобы от злости, от ярости. От уколов откажись. К черту уколы! Обманывают они уколами, сердце замораживают, сопротивляемость твою. Равнодушным к себе делают. Даже если выйдешь, морфинистом станешь. Зачем тебе это? Ты злился, чтобы от злости кровь под шкурой ходила ходуном. И шевелился, не лежи льдиной. Больно, а ты шевелился! Криком кричи, а двигай плавниками, не давай кровушке застывать, останавливаться. Я поздно додумался до этого, а то бы давно выписался. Слышишь? Или ты спишь, Каленыч?

Внезапно навалилась, смежила веки дремота, тяжелая и чуткая. Это от укола морфия. Тело стало как тюк ваты, легкий и громоздкий, до предела накачанный изнутри воздухом. Боль отступала, можно было уснуть, крепко уснуть, чтобы не слышать звонкого шепота соседа, въедливых больничных запахов, шума чужого города за окном, но укол морфия, усыпив какую-то часть мозга, большую часть подстегивает к активному бодрствованию. В сознании, торопливо сменяя друг друга, теснятся отчетливые, как наяву, пестрые воспоминания. Он знает, что дела его плохи, и, страдая, пытается вызвать в памяти прошлое. «На смертном одре прошлое, каким горьким оно бы ни было,— всегда прекрасно!»— рассказывая о себе, произнес как-то Кузькин. Может быть, это и так, но Митьку всегда мучало то, что, возникнув, самые родные картины и образы всегда потом тонули в чадном пламени. Огонь становился все горячее и горячее, образы стусhevывались, наступала непроходящая жгучая боль, доктор или сестра делали очередной укол морфия, и все начиналось сначала.

— Ты спишь, Каленыч?

Кузькин сидит, свесив с кровати культю, кое-как прикрыв ее желтой простыней. Он часто и спит так вот, сидя. На спину лечь не может, а если попытается уснуть на животе, его донимает тяжелый чахоточный кашель. Тогда он спускает ногу с кровати и на чем

свет стоит ругается, вспоминая бога, родителей и прародителей их.

— Каленыч, не спи, слушай, что скажу. Когда тебя приперли сюда, ты мне сразу понравился. Головешка головешкой, а не знаю почему, понравился мне. Может, потому, что орешь мало и кряхтишь тихо. Я сразу кое-куда письмишко махнул. Лекарства для тебя пришлют — ахнешь!

— Лечат же...

— Сказанул! Нечем у них лечить. Не хватает лекарств, где взять? На таких, как я вот сейчас, все лекарство в гражданскую извели. А у меня во взводе на-наец был — бог! Сколько он наших дырок зарастил! Травкой, понимаешь, Каленыч, травкой! И медвежьим жиром. Белозерский, бандит, нашему взводному лекарю в подметки не годится. Он откликнется. Вот увидишь. Я тебя этим лекарством мазать буду. И точно — побыстрее моего на волю выскочишь.

— Чудной ты, Кузькин... Врачи не верят, а ты свое...

— Псих! Утром девчоночка приходила, ты в забытии был. Кто такая?

— Потом как-нибудь расскажу. Нина.

— Ну и ладно. Плакала она. Небось любит. А глаза у нее суматошные! И сама, как хворостинка...

— Ты помолчи, Кузькин. Я уснуть хочу.

— Да спи ты, ради бога, ясный день! Кто тебя, сердешного, трогает?

— Сам же вопросы разные задаешь...

Не может успокоиться Кузькин:

— Слушай, ты наберись духу, выбирайся отсюда и женись на ней. А то я женюсь.

Кузькин говорит, а Каленов не слышит его. Сознание уже окутала маетная дремота.

...Вот он идет по городу с тальниковой тоненькой палочкой на плече, на конце которой болтается узелок с провиантом. Раннее солнце поднимается из-за домов, запуталось в густых кронах тополей, что растут по обеим сторонам мощеной дороги, катится золотом по мокрым крышам, золотит купола церквей.

Город давным-давно проснулся, а может, и не засыпал еще со вчерашнего дня. Он чужой, непонятный, крикливый, грохочущий пролетками извозчиков и ломовыми телегами. Город кричит граммофонными трубами

из окон красивых особняков, гремит диковинными машинами у полуразрушенных зданий.

Огромный город, оглушенный гражданской войной, как больной человек, как вот он сам сейчас, как Алексей Кузькин, с трудом поднимался с колен, срывая с себя бинты, выкарабкивался на свет из кирпичной и цементной пыли, из земного праха. И лечили город не строго-спокойные доктора в подсиненных халатах, вызволяли его из праха взъерошенные люди в лаптях и опорках, в драных и вшивых рубахах, горячие, пропахшие злым потом.

Правда, позднее, когда он всмотрелся в город и в его обитателей, стал встречать и других людей: в шляпах, в безрукавках, с черными бабочками галстуков, с чудными собачонками ростом с кошек. Но эти люди торчали больше около своих крашенных и кирпичных особняков, а дома-калеки обходили стороной и чувствовали себя не очень удобно в изуродованном городе. Они брезгливо стряхивали с себя известковую порошу, отворачивались от обозов с тесом и кирпичом, от которых на версту несло крепким лошадиным потом и навозом, и безучастно улыбались, как однажды улыбался Осьмухин, когда у Каленовых отравилась вехом Изметка.

С крылечка аккуратного, сплошь заросшего хмелем беленького домика, в который надо пробираться через узкий проулок с высокой крапивой, Митьке улыбается приветливая старушка. Она приходится какой-то дальней-предальной родственницей Луке Павловичу, и Дмитрий должен жить у нее. Старушка похожа на булочку, но зовут ее угрожающе громоздко — Клеопатра Прохорова Генералова. Он почему-то боится называть старушку по имени-отчеству, с первого дня стал держаться в доме тихо и не скрывал своей боязни перед нею. Скоро ушел жить на пристань.

Примостившись где-нибудь в укромном уголке на бухте просмоленного каната или в стружках опорожненного ящика, он чувствовал себя куда спокойнее и уютнее. На пристани приятно пахло согретым за день гудроном и паклей, под дощатым причалом усыпляюще-тихо плескался Амур, устало шлепая плечами колес, хрипло и приглушенно гудели пароходы, на берегу, с утренней зари и до самой ночи, не переставая, будто необыкновенно огромный улей, гудел многоязыкий

люди — грузчики, матросы, торговцы рыбой, пампушками, овощами и липучками, вербованные из Казани и Киева, из Курска и Вологды. Растерзанный войною Дальневосточный край настойчиво звал к себе охочих до работы людей.

Выросший на тихом хуторе, Митька не только удивился городу, но и испугался его. Часто он думал с тоской, что пропадет здесь, оглохнет, будет раздавлен клокочущим и нелепым шумом толпы, гудками паровозов и пароходов, грохотом телег на булыжных мостовых, но постепенно, сам не замечая как, он научился из этого крикливого гвалта выбирать что-то интересное для себя, и тогда, как ни странно, угнетающий хаос города отходил на второй план. Где-то передрались цыгане, у какой-то растяпы торговли украли весь дневной барыш, и она цветисто, умело и нехорошо ругается, голосит на весь белый свет. Подвыпивший извозчик не справился с зауросившей лошадью и вместе с пассажиром, под улюлюканье толпы, съехал в Амур; народная милиция нащупала целую артель карманных воришек, а они рассыпались горохом по пристани, разбежались — и снова забава для толпы и для Митьки тоже. Митька втягивался в новую жизнь и все реже думал, что он один в этом большом и непонятном городе, смелее ходил по суетному берегу, подыскивая работу. А подходящей работы пока не было...

— Доктор! Доктор! Да передохли вы там, что ли, все?

Это кричит Кузькин. Митька, не открывая глаз, почувствовал, как в палату вбежали Сомов и дежурная сиделка.

— Ты чего кричишь, Кузькин?

— Так он же помер, Матвей Егорович! Смотрите!

«Нас в палате двое. Значит, я помер...»

Сомов прикоснулся толстыми подрагивающими пальцами к векам Митьки, но тот сам приоткрыл глаза. Сомов сделал тяжелый выдох, будто воздух долго томился в его груди, пощупал Митькин пульс и, повернувшись к Кузькину, уничтожающе спокойно сказал:

— Ты, Кузькин, неврастеник и пустозвон. Стыдно!

Митька скосил глаз и увидел, как отвисла губа соседа, как блудливо, будто поймали его за руку, бегали маленькие и по-цыгански черные глаза.

— стыдно, Кузькин!

— Я его звал, а он молчал...

— Молчал! В этом и разница между вами. Каленов умеет молчать, когда ему трудно, а ты не умеешь.

Кузькин вдруг рассмеялся тонко и весело, по-мальчишески. Сомов и сиделка оторопело смотрели на него, Митька тоже недоумевал.

— Чего вы смеетесь, Кузькин?!— испуганно крикнула сестра.

— Да ведь живой же он! Живой! Вот я и смеюсь.

— Сумасшедший!— крикнула в сердцах сиделка и выбежала из палаты.

Доктор вдруг тихо и как-то освобожденно засмеялся. И они смеялись уже вместе — Кузькин и Сомов.

Митька всегда думал, что Сомов уже старый человек — сутулый, громоздкий, словно шкаф, помятый и утомленный, а тут вдруг, когда Сомов засмеялся, вся внешность его молодо преобразилась, и Митька понял, что Сомов казался старым от усталости и озабоченности. На самом деле он не такой вовсе. Митька смотрел, как хорошо смеется Сомов, тоже улыбнулся краешком губ.

Сомов внезапно погасил улыбку.

— Ну, вот что я должен тебе сказать, Алексей Васильевич Кузькин,— заговорил он полушепотом.— Давай-ка поговорим по душам. Ты мужик суетный. Но это твое дело. Может, действительно и выкарабкиваешься ты только поэтому.

— Все же выкарабкиваюсь?

— И хорошо. Лучше, чем можно было ожидать. Ногу я тебе новую заказал. Принесут — будешь учиться ходить. А там и на воздух. Взвод, правда, тебе уже не дадут, но землю еще потопчешь.

— Ну спасибо, Матвей Егорович, спасибо. Порадовал!

— Ты обожди с благодарностями. Ругать буду.

— Давай, доктор, шуруй!— будто попросил, с радостью прошептал Кузькин.

— Ты прекращай тут митинговать. В ординаторской слышно все.

— Так ведь и нам тут все слышно!

— Знаю. Ты умный. Командиром был, должен понять. Белозерский — человек старый. Старый военный. Всю жизнь по госпиталям. Был уже на отдыхе, а его

заставили тебя вот лечить, скажем. Врачей у Советской власти пока совсем мало, а больных — пол-России. Не знаю вообще-то, как он к нам относится, хорошо или плохо, лечит — и все. Но тебя он считает анархистом.

— Меня — анархистом? — Кузькин, Митька это сразу почувствовал, готов был затеять скандал.

— Да, тебя, Кузькин. Белозерский — кадровый военный, знает дисциплину и привык, чтобы к нему относились с уважением. И у него есть свой характер. Когда ты устраиваешь митинги, он по твоему поводу открыто митингует у себя. Ты моложе, ты красный командир, поэтому рекомендую прекратить.

— Разобрался, доктор, — кисло ответил Кузькин.

— Это еще не все. Ты плохо ешь. Приказываю есть больше. Перед обедом будешь получать пятьдесят граммов.

— Под вечную чумизу¹ водка — отрава.

— Отказываешься, значит?

— Зачем же отказываться... — Кузькин смутился. — Водочка — хорошее средство от любых болезней.

— То-то же... Чумизу отменить я не могу. Плохо у нас с продуктами, просто беда, как плохо... Мы все истратили на войну.

— Ясный день...

— Ну вот... Урок политграмоты закончен. Тебе люди из лесу посылочку прислали — сушеное мясо, юколу и мазь. Мясо тебе под водочку. А мазь от пролежней. Я ее знаю. Прекрасная штука. Там желчь изюбра, медвежий жир, травы и женьшень.

— У нас во взводе человек был, он такой мазью нашего брата лечил.

— А я ею обмороженных выхаживал. Почти стопроцентный успех...

Сосредоточившись на какой-то мысли, Сомов вдруг поднялся с Митькиной кровати и начал ходить по палате. Он нервничал, это было видно, и когда Кузькин хотел что-то сказать ему, нетерпеливо махнул рукой.

— Помолчи, Кузькин. Помолчи, дорогой человек.

Сомов подошел к двери, заговорщически выглянув в коридор, аккуратно прикрыл дверь и, присев на Митькину кровать, волнуясь, зашептал:

¹ Чумиза — на Дальнем Востоке сорт пшена.

— Слушайте, ребята. Слушайте, герои. Насколько я понимаю, обморожение и ожог — болезни хоть и разного происхождения, но суть одна и та же. А что, если мы твоим варевом, Кузькин, будем лечить твоего друга?

— Так я же для этого лекарство и попросил, — простодушно признался Кузькин. — Сами мы хотели...

— Я вот тебе покажу — сами! Под наблюдением надо, умный ты человек! Я буду лечить. Только чур! Ни гугу! Белозерский узнает — выгонит немедленно! Народных средств он не признает. А ты, дорогой спартанец, — счастливый человек! Говори своему другу большое спасибо.

...Город шумит бестолково и могуче. Снуют люди, гудят пароходы. Смятенный ходит Митька по пристани. Ищет работу. Работы всякой много, но ему надо найти такую, чтобы вскорости заработать на лошаденку. Встретил он как-то усатого молодого дядьку в странном и смешном одеянии. На нем были синие шаровары из сатина, подпоясанные красным кушаком. На шаровары и кушак ушла, наверно, целая штука материала — такие они были необъятные. Желтая ситцевая рубаша с обтрепанными рукавами и войлочная шапочка горшочком дополняли наряд дядьки.

Сердитый был на вид этот человек. Широкоплеч, высок, силен. Лицо его выражало презрение ко всему на свете и равнодушие.

— Ты кто? — внезапно вырос перед Митькой живописный дядька.

— Я? Каленов.

— Ишь ты... Известная фамилия. Родовитая. А зачем здесь ходишь? Небось стырить что-нибудь хочешь?

— Я ищу работу, — обиделся Митька.

— Работу, значит. А откуда будешь?

— С хутора. С Каленова хутора.

— Понятно. Херсон, Киев, Харьков, Каленов хутор, — из-под рыжих бровей озорно блеснули выцветшие глаза. — Звать-то как?

— Дмитрий Степанович.

— Ты смотри-ка, Дмитрий Степанович! — дядька полез в карман необъятных своих штанов, вынул огромную горсть тыквенных семечек, протянул Митьке.

— Держи. А где же ты работать хочешь, Дмитрий Степанович?

— Мне все равно...— Дядька пугал, и все же Митька не мог отойти от него. Расположение к усачу родилось еще тогда, когда Митька впервые увидел его на пристани.

— По всем, значит, специальностям? А что, у вас на хуторе работы нету?

— Работы много... Земля у нас.

— Так что же ты в город пришел, святой человек?

— Лошадь у нас пала от веха. Изметка.

Мужик некоторое время бесцеремонно и оценивающе разглядывал Митьку, помял ладонями предплечья.

— Годишься. В грузчики пойдешь,— сказал, будто дело это давно решенное. — На подхват.

— Где это... на подхват?

— В трюме, Дмитрий Степанович. Снимешь груз с подушки у грузчика — и в штабелек. Работа — не бей лежачего. Втянешься — под ковли¹ пойдешь. Плата такая: берем пароход или баржу, загружаем-разгружаем, заработок, кроме меня, на паях, всем поровну. Филонам и волынщикам — по зашеям. Харч и водка в общем котле. Уразумел?

— Уразумел...— тихо и с готовностью ответил артельному Митька, хотя и половины, что сказал тот, не понял. «Какая водка в котле? Что такое филонить?»

— А меня Гудков Никита зовут. Так и называй — Никита Гудков.

Гудков привел его на баржу, где, рассевшись на ящиках, на кулях с мукой, обедала артель грузчиков.

— Вот, робя, этот мужик работать с нами будет,— представил он грузчикам Каленова.— Звать Дмитрий Степанович.

Никто головы не повернул, а один из грузчиков прошил Митьку глазами и, сплюнув, сказал:

— Так уж и Дмитрий Степанович... Стручок!

Грузчик заерзал на ящике, засмеялся. Был он тонкий, как гвоздь, высокий, голова большая, похожая на редьку, только с ушами, а подбородок детский. Усы тоже смехота одна — тощие и длинные, словно сосульки. Пока Митька смотрел на длинного, тот ерзал на ящике и нехорошо смеялся тонкими губами.

¹ К о в л и — приспособление для переноски грузов.

Гудков приказал:

— Ну, чего ощерился, Скоба! Не егози! С тобой в трюм парнишка и пойдет.

Какой-то грузчик, немолодой и рыжий, поднялся с бочонка, облизал ложку и протянул ее Митьке.

— Не робей, паря. На-кось, похлебай нашего кваску. Да пошибче. А то скоро дрынза вдарит.

Митька ел горячую картошку с квасом и луком и думал, что совсем и неплохо у него получилось на первых порах. Работу подыскал, и люди вроде подходящие. Кроме разве вот этого Скобы, длинного, развязного и грубого.

Где-то на носу баржи задребезжал колокол. Артель поднялась. Каждый из грузчиков стал надевать на плечи ковли — странную, Митька первый раз видел такую, подушечку с острым уступом и двумя ременными петлями по бокам. Как и Гудков, все грузчики были в необъятных шароварах, подтянутых кушаками, и войлочных шапочках. Сильных и рослых грузчиков такая одежда делала еще более огромными. Поджарый Митька в холщовых своих крашеных штанах сам себе казался петушком среди них.

Вместе с долговязым он спустился в трюм баржи и стал ждать, когда по широкой отполированной сходне поползут вниз мешки с мукой. Они потекли неожиданно, один за другим, сплошным потоком. Только поспевай хватай их и закидывай на штабель. Через несколько минут его рубаха прилипла к спине, а по лицу потек ручьями едкий пот.

В коротеньком перекуре Митька хлопнулся навзничь на штабель с мукой и закрыл глаза.

— Хоть ты и Дмитрий Степанович, а квас тебе хлебать всю жисть, — сворачивая «козью ножку», ворчливо сказал ему напарник.

— Почему?

— Не заработаешь ни хрена. Стручок!

— Это без привычки...

— Привычка! Жилы здесь нужны, а не твои струны. Лопнут они. И зачем только Гудок тебя взял и навеличивает?

— Кто?

— Артельный. У нас даже в повременке всех так. Некогда длинно говорить. А тебя, соплю, вишь ли, по имени-отчеству...

— А почему вас Скобой зовут?— простодушно спросил Митька.

— Заткнись! Тебе-то я не Скоба, а Серафим Иванович Кошкин! Понял?

С того дня Митька все больше сторонился напарника, отчуждался, сердце его наполнилось еле сдерживаемым раздражением.

— Ишь ты, мокрец! Не хочешь, значит, со мною говорить? Гребуешь? Заговоришь. Мы такого гордого из артели быстро турнем. Захотел на кауру заработать— зарабатываешь на кауру курицу!

— Я же не трогаю вас...

— Ха! Он нас не трогает. В трюмных подхватчиках я, может, всю жисть. Своими руками хошь кого задушю! — Скоба вытягивал перед носом Митьки сильные, будто из веревочных узлов, руки.— Видел? Он нас не трогает!

Каленов старался изо всех сил, но без привычки к тяжелой, просто непосильной работе он так страдал от усталости, что даже во сне тело его стонало от непроходящей тупой боли. Бросить бы все это к чертям, найти другую работу, но Митька обозлился и, наверно, бы умер, но не вылез из трюма, не доказав Кошкину, что он умеет работать не хуже его.

— Ишь ты, лягушонок! Упрямый! — шипел напарник, потому что Митька теперь всегда молчал со Скобой, не скрывая уже презрения к нему, потому что узнал, из-за чего Кошкин взъелся. По неписанным правилам полагалось поставить магарыч трюмному, а он этого не сделал.

Как-то вечером, в шабаш, пришел на баржу подрядчик и стал выдавать деньги. Митька рот раскрыл от удивления — ему полагалось столько же, сколько и другим грузчикам. Еще два-три таких трудных круга сделать, лошаденку можно купить и возвращаться на хутор. Если, конечно, дедушка разрешит. Неизвестно еще, как у него там с Осьмухиным...

Когда подрядчик подозвал Каленова, сзади подошел Скоба и, выругавшись, сказал:

— А почему этой деревенской овце на равных паях?

Грузчики, молчавшие до сих пор и вроде не замечавшие трудных отношений между трюмными подхватчиками, загалдели разом:

— Хорошо работает парень...

— Вкалывает, как все.

Скоба завопил тонким, по-бабьи слезливым голосом:
— Да что же это получается! От куля с ног валится.
Почему я с ним должен на равных?

Напарник размахивал длинными руками, ругался, и Митька не совладал с собой, вырвалась наружу вся его неприязнь к этому несправедливому человеку. Правда, из сил выбился он, но никто не может пожаловаться, что Каленов хоть на минуту задержал работу артели. Он неожиданно для самого себя резко повернулся к Скобе, схватил его за длинный ус.

— Оговариваешь, треугольная морда!

Уж чего-чего, а такого не ожидал от мальчишки Скоба. От изумления и боли он вытаращил маленькие глаза, уперся руками в Митькину грудь и зашипел:

— Да ты с ума сошел! Отпусти сейчас же!

Грузчики, пораженные не меньше Скобы таким оборотом дела, грохнули дружным хохотом. Нахальнее Скобы в артели не было.

— Ай да малек!

— Молодец, Дмитрий Степанович! Оборви усы этому сукину сыну!

Подбежал артельный, отнял руки Скобы от Митькиной груди и, разделяя слова, сказал:

— Ша! Сам донял парнишку, длинная зануда! Если пальцем тронешь — возьму грех на душу: утоплю. Уразумел?

Грузчики с такой враждебностью смотрели на Скобу, что Митька понял — не любят его.

А потом Гудков крикнул всей артели:

— Эй, братва, айда в кабачок к корейцу чамчу жевать!..

Грузчики шли к кабаку, все крупные, как на подбор, в живописных просторных шароварах, в пропотевших рубашках, и народ сторонился, уступая дорогу. Силища!

Митька по-детски гордился, что идет сейчас по берегу с артелью, что его признали и в обиду не дадут. Да и себя с этими людьми он почувствовал сильным.

— А ты молодец, Дмитрий Степанович. Хорошо усы-то Скобе накрутил, — гудел ему в ухо огромный артельный. — Правильно. Сам никого не кусай и себя укусить не давай. Попустишься — зараз сожрут.

— Теперь не простит он...

— Не бойсь! В цепочку я тебя к себе переведу. Под

кулек с ковликами станешь. Орешек ты крепкий. И парнишка вроде бы ничего себе...

В кабаке, приземистом и квадратном, с липкими стенами из дикого камня, пропахшими разной едой и водкой, Гудков, расставив ноги, остановился в дверях, придерживая широкой спиной свою ватагу. Он оглядел немногих посетителей, сказал хозяину — услужливому корейцу:

— Рассчитывай всех и вымета́й.

— Не имеешь права никакого! — из полутемного угла крикнул какой-то мужичонка пьяным голосом. — Все мы тут одинаковые!

— Ишь ты! Он законы знает! Одинаковый — значит, оставайся. Но если по пьяной лавочке кто из моих забузит, башку назад повернет или по роже саданет, ты уж не серчай. Уразумел?

Посетители вмиг улетучились, хозяин быстро распорядился и вместе с женой, старой корейкой, расставил на столе водку, кума-сакэ — корейскую брагу, огненно наперченную капусту — чамчу, вареную рыбу, опять же приправленную красным перцем. Шумная, изголодавшаяся по хорошей пище и развлечениям, артель принялась за пиршество.

— С крещеного, с Дмитрия Степановича, магарыч! — крикнул кто-то.

Митька сообразил, в чем дело, мигом полез в карман, достал рябенюкую тряпицу с деньгами, но Гудков придержал его руку.

— Оставь. Убери свой портмонет. У нас не принято. Запретил. Пусть на свои жрет. А за тебя я заплачу. Копи свою лошадку. Мне-то деньги ни к чему. Живу, как голубь.

Он налил два полных стакана водки.

— Ну давай, Дмитрий Степанович, будем! За крещение. Приняла тебя артель.

Митька никогда не пил, а здесь, чтобы не упасть в глазах Гудкова и артели, храбро, боясь поморщиться от отвращения, медленно выпил свой стакан. Гудков тоже пил и искоса поглядывал на Каленова.

— Да... Дуешь ты ее что надо. А зря.

— Вы же налили...

— Налил! А если бы что плохое сделать заставил, сделал бы? Когда научился-то?

— Я не учился. Первый раз.

— Расстарался, значит. Не пей больше. Никогда не пей, пока трезвый — говорю.

Радостная и ласковая волна потекла по Митькиным жилам. Стало легко и весело. А скоро и пальцы рук и губы стали чужими, непослушными, в туманной голове жалобно зазвонили вразнобой маленькие колокольчики.

«Пьяный, совсем пьяный...— подумал Митька.— Нехорошо!»

«Пьяный совсем... нехорошо!»

Действие укола стало ослабевать, и все, что только пронеслось в мозгу, казалось реальным, будто не память вернула его в прошлое, а сам он вернулся в это прошлое, на пристань, в артель грузчиков, в корейский кабачок. Конечно же, это так, потому что и голос Гудкова, низкий, с хрипотцой голос, он услышал вдруг совсем явственно.

— ...После демобилизации приехал я, Алеша, домой. Двенадцать или четырнадцать дней на чугунке по рельсам стучал. Иду, знаешь, по дороге, душа, как гармонь в праздник,— поет! Мать, думаю, увижу, отца, братишку. Зазнобушка у меня там была... Люди стали встречаться: знакомые. Всю жизнь в одной деревне. Разговор о том, о сем, а вижу, прячут глаза люди, будто нехоти я появился, незваный гость в праздничек. Подхожу к дому, а дома тютю! Нету нашего дома. Раскатали его по бревнышку. Сел на камешек, вздохнуть не могу... «В чем дело?» — спрашиваю. «Сослали твоих мать — отца как подкулачников», — говорят мне. «А какие они подкулачники, если от хлеба до хлеба лебеду ели?» — «Нам это неизвестно. Иди в сельсовет, там объяснят».

В сельсовете Митрошка Пакулов сидит. Этот уж точно из кулаков. Гимназию кончил. Грамотный. И горбатый. О двух горбах Пакулов, а склизкий, как налим.

За хлеб, говорит, и сослали старичков. И поделом. Народная коллективизация идет, а они целый куль зерна посевного припрятали.

«А Пакуловы, спрашиваю, все зерно, значит, отдали?» — «Все до единого зернышка!»

Врет ведь, горбатая собака. Пакулов-старик на двор сходит и оглянется, не годится ли на квас. Жадный. Ну ладно, спрашиваю, где же мне искать родителей?

— А ты не ищи. Не советую. А то ведь и тебя породственному прибрать можно. Новая власть — она суровая.

Хлопнул я кулаком по столу, а Митрошка народ стал звать, дескать, Гудков хулиганит в советском учреждении. Пошел я к своей зазнобушке. Ждала ведь, думаю. Выросли вместе. А она отворачивается — любовь моя. Старики, видишь ли, не велят ей со мной. Осторожничают. Мало ли чем и для меня все это кончится. Плюнул я на все и рванул снова сюда вот, в эти края. Кажется, всю землю-матушку истоптал, стариков все искал, братишку. Потом не выдержал — запил.

«Конечно же это Гудков! А почему он здесь?» — Митька напруг силы, чтобы сбросить с себя дремотную хмарь, открыл глаза и увидел артельного.

Гудков сидел на кровати Кузькина, громоздкий, просто огромный рядом с ним и, улыбаясь, смотрел на Митьку. Кузькин тоже улыбался во весь рот.

— Проснулся, богатырь? Ну, слава богу. А то, думаю, уйду, так и не поговорим.

Митька хотел было спросить, почему Гудков здесь, к кому пришел, но артельный с несвойственной ему торпливостью, голосом, в котором через край плескалась радость, стал объяснять:

— Понимаешь, Дмитрий Степанович, какая хреновина приключилась... Узнал я ненароком, что ты лежишь в больнице, — и к тебе. Кое-как пробился через больничный кордон. Даже кулак пришлось показать какому-то сивому типу. Захожу это я в ваши палестины, мамочки мои! Кузькин! Алексей Васильевич Кузькин, взводный наш собственной персоной. Мы же два года вместе по тайгам шастали!

Гудков хотел на радостях хлопнуть Кузькина по спине, но тот испуганно отвел его ручищу:

— Тихо! Я же говорил, в болячках весь!

— Забыл... — радость, которой только что наполнились глаза Гудкова, потухла. Он нахмурился и стал некрасивым.

— Да... Видишь, как получается, Алеша... Вот трое нас тут, и каждого под дых садануло.

— Ты же целый весь!

— Не целый я, Алеша. Душа моя вся расковыряна, кровью плачет.

Некоторое время они молчали, потом заговорил Кузькин. Митька подумал: наверно, Кузькин так говорил со своими бойцами, когда был взводным.

— Вот что, Никита Гудков. Правду говоришь, расковыряй ты. Но мы с Каленовым снаружи гнием, а ты изнутри. Это плохо, брат. Совсем хуже, чем у нас с Дмитрием Степановичем. Кончай, Никита, с водкой. Крепким узлом завяжи. Ты же лучшим отделенным в роте был. Все образуется!

— Думал я уж так...

— Вот и завязывай. Нехорошо это. Захлебнешься ею и пропадешь. Кому это нужно? Пакулову?

Гудков медленно поднялся, оправил ситцевую рубаху и ответил тихо, но твердо:

— Завяжу, командир!

Так и не поговорил в этот раз Митька с артельным. Снова на его сознание, на все его тело навалился не тяжелый, но до беспредельности огромный, просто необъятный груз. Будто в мыльную пену упал, и когда барахтался в этой пене, пытаюсь вернуть ощущение реальности, слышал уже откуда-то издалека глухой голос Гудкова:

— Понравился он мне сразу, Алеша. Славый паренек, чистый. На моего братишку как две капли воды похож. Ты уж побереги его, Алеша...

— Поберегу...

Зеленый луг такой просторный, что можно заблудиться. Он бескрайний, нет у него ни начала, ни конца. Знойное, густое, как молоко, марево колыхается над лугом, а в этом мареве плавает раскаленное солнце. Митька убегает от солнца по обжигающему палу и не может убежать. Солнце вездесуще — в воздухе, в траве, внутри Митьки, под самым сердцем. И сердце вот-вот расплавится, и сам он расплавится от уничтожающей жары. Митьке хочется кричать, но кричать просто некогда. Нужно, задыхаясь, бежать и бежать, хватать ртом невыносимо жгучий воздух.

— Кризис!

Это говорит доктор Сомов, говорит встревоженно и очень тихо, но от его полупшепота вдруг огромная стая пугливых красных птиц поднялась над лугом.

— Кри, кри, кри, кри!

Нет, это не голос Сомова испугнул багряных птиц, это

солнце запалило луг, и они разносят сейчас пожар по всему свету.

Ему суждено сгореть в этом пожаре, он это знает, но все равно, напрягая остатки сил, бежит и бежит в нестерпимо чадном пламени, а багряные языки безжалостно хлещут по лицу, а он знает, что это не пламень, а красные птицы убивают его своими крыльями.

Он взлетает на зеленый яр, где стоит его дом. Надо забежать в избу, в спасительную прохладу, но около крыльца — Осьмухин и Мотря, а за их спины прячется длиннорукий Скоба. Значит, там его гибель. На самой вершине яра Митьку ждет отец — Степан Лукич. Он кидает сына вниз, в бурную стремнину, и сердце Митьки заколотилось от высоты.

Всегда даже сама мысль спрыгнуть с яра пугала его, заставляла трусливо сжиматься все тело, а тут он обрадовался, что все обошлось. Добрая рука услужливо подхватила его и, бережно покачивая, понесла прочь от пожара.

Когда не было еще войны и отец Митькин жил дома, он учил Митьку плавать. Отец стоял по пояс в реке и закидывал сына, где побыстрее и поглубже. Митька орал благим матом, захлебывался, мать на берегу беспокойно причитала, а отец как ни в чем не бывало посмеивался в усы.

— По стоячей воде только лягушки плавают да водомеры. На быстрину надо, на стрежень! Самая сильная рыба — на быстрине!

— Ох, утопишь мальчика, Степа!

— Выплывет! Не лягушонком выплывет, а человеком. Выплывай, выплывай, мальчик!

— Выплывай, мальчик!

Это говорит доктор Сомов. Митька знает, что Сомов рядом с ним, но почему его голос так похож на голос артельного?

...Они сидят в корейском кабачке, где во всю пьяную силу плещется людской галдеж, и около самого уха густой голос Гудкова.

— Я зачем тебя по имени-отчеству? Чтобы отличили и уважили. У них ведь ни одного имени нету. Кочуют по свету, яко странники, там рубль сорвут, тут гривну ухва-

тят. Переплавят этот рубль на самогон — и в утробу! Шабашники.

— И вы шабашник?

— Не... Я человек военный. Служил здесь... Я ведь, Дмитрий Степанович, из деревни своей парнишкой ушел, как и ты вот. На коровенку хотел заработать, хозяйство поправить. Коровенку-то, правда, домой привел, а сам заблудился. Город — он зараза. Схватит за руки-ноги — не отпустит. Собирай ты на свою лошадку, может, и на домишко соберешь. Заработки ничего себе... Да и тикай ты на свой знаменитый хутор от греха подальше. Сам по деревне своей плачу и тебе потому так говорю.

— Так уходили бы...

— Нету у меня больше деревни. Нету...

Митька опьянел, глаза слипались, голова еле держалась на плечах, а слушал Гудкова внимательно. Если правду говорит артельный, то можно и новый домишко справить. Эх, и радости было бы, если так!

В полутемном углу кабачка слышались крик, возня, грохот роняемых табуреток.

— Забузили, стервецы! Мордобой затеяли!

К ним подбежал Скоба и зашептал на ухо артельному:

— Милиционера надо. Таракан кашу заварил!

— Я сам милиционер.

Артельный тяжело поднялся и пошел на шум, а Скоба подсел к Митьке.

— Э, паря, Дмитрий Степанович, ты, брат совсем ко-сой,— заговорил Скоба участливо.— Пойдем-ка, я тебя на пристань отведу, а то, не ровен час, пристанет кто или получку смочет...

Митька смутно помнит, как пришел на пристань и улегся спать на веревочную бухту. Уснуть он сразу не смог. Перед глазами все еще, как огромный и жесткий наждачный круг, вертелась земля, а на этом кругу и люди, и дома, и деревья — все ходуном ходило. «Одному и не дойти бы... Скоба помог. Человек он вроде и ничего себе. Забыл про все и помирился. Зря я его за ус-то дернул...»

Вот уже стал засыпать Митька, но подумал про получку. «Надо бы на тот бок лечь, где тряпица с деньгами, надежнее...» А в каком кармане тряпица, он забыл. Спустил ноги с бухты, стал шарить по карманам и от ужаса стал совсем трезвый. Денег не было. Уже не надеясь ни

на что, он дважды вывернул карманы штанов, потом слез с бухты и уронил голову на перила причала. Крикнуть бы надо от горя, а у него сил нет.

Вдруг кто-то подошел к нему сзади и дернул за рукав рубахи. Рядом стояла босоногая девчонка в красном платице. Митька часто видел девчонку. Она жила на огромной пузатой барже «Азия». Ей было лет семнадцать, но в коротком линялом платице, прокаленная солнцем, хрупкая с виду, она больше походила на подростка. Дед девчонки — Сергей Артемович Кошовкин — сухонький и очень крикливый старичок, плавал на барже шкипером, а внучку свою возил вместо стряпухи.

Митьке было приятно наблюдать исподтишка, как живут шустрый дед с внучкой. Там, в шкиперской, был хоть какой, а дом, семья, со своим устоявшимся и прочным укладом, семья, чем-то похожая на их, каленовскую: девчонка, напоминающая Настю, старик... Впрочем, суматошный Кошовкин, может быть, только возрастом своим похож на рассудительного и смешливого Луку Павловича. Это совсем другой человек — Кошовкин.

Кажется, по любому поводу старик готов был вспыхнуть порохом, расшуметься так, что на берегу за версту слышно. И грузчиков ругал Кошовкин, и подрядчиков, но внучке, наверно, доставалось больше всех. Правда, она не обращала на деда внимания. Он ругался, а внучка улыбалась тихо и, словно котенок, мурлыкала себе под нос тоненькую, как ниточка, песенку. Видно, знала, что не со зла кипятится дед, а из-за своего петушиного характера. И грузчики, люди в основном грубые, тяжелые на руку и на слово, к шумливому деду относились снисходительно, мягко подтрунивали над ним, а при случае с нарочитой почтительностью называли товарищем командиром.

«Добрый человек, как и злой, за десять верст виден, — говорил как-то Митьке Лука Павлович. — Только доброго и злой улыбкой встречает, а злого и добрый — посохом!»

Может быть, и прав был дед Дмитрия Каленова, но в терпимом отношении артели к старому Кошовкину, который был прямо-таки не очень щепетилен с ними, Митька видел и другое. Шкипера Кошовкина очень скоро поставили бы на место, но на барже шкиперская внучка — Нина.

Светловолосая и голубоглазая, она даже самых необузданных обезоруживала по-взрослому умным и спо-

койным взглядом. По молчаливому уговору при Нине нельзя было ругаться. Ей старались оказать любую услугу.

Внучку шкипера Кошовкина любили.

Может быть, в каждом, кто работал на барже, пробуждались родительские чувства, может быть, было здесь что-то другое, но при ее появлении каждый менялся на глазах, старался казаться лучше, чем был на самом деле.

В разгар погрузки, когда нескончаемая цепочка разгоряченных работой, потных и злых грузчиков растянется по нешироким колеблющимся сходням, даже подрядчик не отважился бы влиться в цепочку и ступить на сходню. Его «нечаянно» столкнули бы в воду. В тяжелой и, на первый взгляд, беспорядочной работе грузчиков существует строгая слаженность, суровый ритм, нарушить который считается преступлением. А тут как-то шкиперская внучка оказалась на берегу. Она возвращалась с базара, пропустила момент, когда артель «шабашила», и ей нужно было дожидаться следующего перерыва. Никита Гудков первым заметил Нину. Он взял ее за руку, подвел к трапу и с несвойственной ему ласковостью сказал:

— Беги, беги, Шоколадка!

Мимо, сутулясь под шестипудовым мешком соли, протрусил грузчик. И хотя не провинился он ничем ни перед внучкой шкипера, ни перед артельным, тот прикрикнул на него:

— Эй, дубье! Потише! Не видишь, человек идет!

Нина до темной коричневости была обожжена солнцем, и грузчики, беспощадно грубые люди, которые не могли жить без прозвищ, называли ее Шоколадкой. А когда однажды в шабаш Скоба, нехорошо улыбаясь, сказал, что за милую душу скушал бы шоколадку, грузчики перестали есть. Пожилой мрачный грузчик, у которого, кажется, и прозвища-то не было и голос его редко кто слышал, свирепо сверля глазами Скобу, процедил сквозь прокуренные, по-лошадиному крупные зубы:

— Ну, ты!.. Сморозишь еще — слопаешь вот это!

И показал Скобе огромный грязный кулак...

— Ты уж не плачешь ли, Митя?

«Поди-ка! И знает, как звать!»

— Откуда взяла... Я вовсе не плачу.

— А все же? Ты не очень веселый...

Лица ее не было видно, но в голосе Нины Митька почувствовал такое искреннее участие, будто разговаривала с ним мать.

— А чего веселиться-то... Получку стырили.

— Кто?

— Знать бы кто. Не займы попросили, а украли.

— Подожди. Тебя сюда длинный привел... Как бич.

— Скоба. Морда треугольником.

Спустились по сходне на берег, миновали притихшую базарную площадь, вышли на неосвещенную узкую улицу, с которой начинался город. Было уже поздно, в домах давно спали. Из палисадников нежно тянуло запахами цветов, там и тут побрехивали полусонные собаки, где-то далеко нестройно пели запоздавшие гуляки. Чужой город... Митька неохотно брел за внучкой баржевого и недоумевал: «Елочки-метелочки! Что это со мной делается? Зачем это я за ней потащился-то?» А она будто знала, что беспокойно на душе у парнишки, говорила без умолку, и голос был у нее материнский, совсем взрослый голос, не довериться которому нельзя.

— Мы с дедушкой давно тебя приметили. Совсем молоденький, а уже под ящиками ходишь. Потом узнали — на заработки пришел. Но как ты только в эту стаю залетел — непонятно. Компания там — ужас один. И водку пьешь. Вот даже сейчас несет от тебя... А деньги твои найдут.

— Милиция?

— У милиции и без тебя дел по горло. Дружинники, комсомольцы.

— А кто такие?

— Ты и этого не знаешь? Бедненький. Ну, как тебе сказать. В ЧОНе раньше были, а теперь рабочие дружинники дежурят по городу ночами. Не трись, там хорошие люди...

Внучка баржевого привела его в старый запущенный дом, еще в войну оставленный кем-то и до сих пор не обжитый. На этот дом Митька и раньше обратил внимание. Большой, двухэтажный, из красного кирпича, с редкими и несоразмерно узкими окнами, он вызывал любопытство своей несуразностью и какой-то мрачной таинственностью. Окна его второго этажа до сих пор еще были забиты седыми досками, а второй этаж так высоко поднялся над улицей, что до него не могли дотянуться вершинами

не очень молодые уже вязы, выстроившиеся вдоль стены, густо покрытой буро-зеленым мхом. Видно, строил этот дом человек, который был сам себе на уме, предусмотрительный и боязливый. Хоть голову разбей о высокую и толстую стену — не узнаешь, чем и как живет угрюмый дом и его обитатели.

Они поднимались по каменной скользкой лестнице, от которой остро несло сыростью, и непритязательный в общем-то Каленов, брезгливо морщась, сказал Нине:

— Куда это мы? Как тюрьма дом-то... Жуткий.

— А ты знаешь, какая тюрьма?

— Нет... Наверно, такая и есть.

Нина уверенно потянула на себя тяжелую дверь из толстых плах, и они вошли в просторную комнату с гулким каменным полом. Здесь тоже было сыро и сумрачно, хотя в углу топилась жестяная печурка и под высоким потолком горела крохотная лампочка, бессильная осветить все помещение.

За дощатым столом, похожим больше на топчан, если бы не красная сатиновая скатерть на нем, дремал немолодой человек. Он встрепенулся при их появлении, протер глаза, включил настольную лампу и сразу же выключил ее. Из-за яркой лампы совсем не видно было вошедших.

— Вы кто? — спросил человек сонно.

— Это я, Владимир Семенович, Нина.

— А... Кошовкина. Поздновато что-то. Садитесь.

Они сели рядышком на плетеный диванчик, оставшийся, видимо, от старых хозяев, а человек, окончательно освободившийся ото сна, поднялся над столом, невысокий, коренастый, подпоясанный солдатским ремнем, на котором висела рыжая кобура, и стал, неторопливо скручивать папиросу.

— Это Усольцев, — шепнула Нина. — Из Баскомреча.

Митька не знал, что такое «Баскомреч», и на Усольцева, смотрел с потайным недоверием и любопытством. «Зачем привела меня Нина к этому человеку?» Усольцев не вызвал у Митьки какой-нибудь симпатии. Лицо у него усталое, серое, с запавшими глазами и оттого некрасивое. Одежда тоже не первый сорт. Только, может быть, револьверная кобура и необычность обстановки заставляли думать, что Усольцев и не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Усольцев, морщась от едкого самосадского дыма, прикурив от печурки, пошуровал в ней поленцем и, не оборачиваясь, спросил:

— А тебя, молодой человек, как звать-величать?

— Митька,— торопливо сказала Нина.

Митька глянул на нее уничтожающе сердито. «Не на улице! Для таких случаев есть полное имя у человека».

— Каленов я, Дмитрий Степанович.

— Вот оно что! — Усольцев посмотрел на него внимательно и даже уважительно.— Про тюрьму на лестнице ты говорил или мне показалось?

— Я...

— Она и есть тюрьма. Здесь калмыковцы двести человек шашками зарубили.

— Двести человек? Зачем?

Усольцев посмотрел на Митьку с недоумением, а Нина толкнула его в бок локтем. Пока Усольцев подыскивал слова, чтобы ответить наивному мальчишке, в комнату вошел молодой, может быть, только на два-три года старше Митьки, высокий парень, тоже с широким ремнем поверх пиджака, на котором болталась кобура, и с красной повязкой на рукаве. Он в знак приветствия молча кивнул головой, устало сел в плетеное кресло-качалку и, покачиваясь, стал слушать нескладную Митькину историю.

Митька постепенно проникался доверием к этим незнакомым людям. Он подробно и обстоятельно рассказал про хутор, про деда, про больную мать и сдохшую Изметку. Про Осьмухина, который взял их за хрип смертельной хваткой, не стал рассказывать.

— Без коня нам совсем нельзя в крестьянстве. Пропадём.

— Понятно. А Никиту Гудкова откуда знаешь?

— Я искал работу, он меня позвал...

— Позвал! — это подал голос старший.— Никите надо надавать за такие штучки!

Митька удивился и насторожился. Как это Усольцев надаёт огромному и сильному Гудкову? А потом, за что? Если бы не артельный, может, до сих пор шастал бы по городу, искал работу!

— Голова у Гудкова большая, а думает плохо. Рано тебе, парень, в грузчики.

Митька совсем испугался. «Шуганут из артели! Как пить дать, шуганут!»

— Мы к работе тяжелой с детства приучены. А потом ведь ненадолго. Заработаю на лошадку — сам уйду.

Парень, вытянув длинные ноги, покачивался и покачивался в кресле, а оно, будто от усталости, жалобно и надоедливо скрипело.

— Слушай, Петр! — сердито попросил парня Усольцев. — Слезай с этой чертовой качалки! Маленький, что ли? Все нутро мое заскрипел этой мебелью! — И, подсев к ребятам на диванчик, тоже скрипучий, спросил Нину: — У вас, кажется, матроса на «Азии» нету? Этот орел, наверно, подошел бы, а?

— Конечно же! — обрадовалась она. — Очень подошел бы! У нас легко работать! И дедушка обрадуется помощнику. Трудно ему.

— Забито!

Владимир Семенович приказал парню, у которого была птичья фамилия — Крохалев, чтобы он переговорил с баржевым Кошовкиным насчет Митьки и чтобы устроил его на работу как полагается, через пароходство, с трудовой книжкой и прочими документами.

— А Скобой я сам займусь, пока деньжонки твои через себя не пропустил. Вернем получку! И вольницу гудковскую прочешем. Собрались там Ермишка с Мишкой да Колупай с братом. Кроме Гудкова, никто не хочет оформляться. Дикари.

Митька совсем расстроился, жалел про себя, что, не подумав, поперся за шкиперской внучкой. «Схлопотал беду, дурак! — ругал он себя. — Прогонят из артели».

Когда пришло время уходить, он набрался смелости и сказал:

— За то, что получку мою обещали найти, большое спасибо вам. А из артели я не пойду. Мне надо скорее вернуться на хутор. Без лошади нашим никак нельзя. Понимаете?

— Как тут не понять... Но и ты нас пойми. Рановато грузчиком тебе уродоваться. Надорвешься, пуп грыжей вылезет — и нету тебя. И компания там не для таких. Отец есть?

— Нету. С войны не пришел.

— Тогда меня послушай. Я в отцы тебе гожусь и на войне, как твой отец, был. К концу навигации ты на лошадку соберешь и в матросах. Там, брат, природа и кислород. К больной матери своей зато не калекой приедешь,

а героем, помощником. Не ерепенься. Тебе хорошего желают.

Они уже попрощались, шагнули было за порог, стали искать в темноте ступеньки, чтобы спуститься на улицу, как их вернул Крохалев.

— Забыл, Дмитрий Степанович, фамилию твою записать.

— Каленов моя фамилия.

Крохалев стал записывать, но Владимир Семенович придержал его руку и посмотрел на Митьку пристально, как показалось ему, изучающе.

— Не припомню... Каленов... А я ведь где-то раньше слышал эту фамилию...

Сергей Артемович Кошовкин Дмитрия Каленова на работу принял охотно.

— Парень ты складный, сразу видать. Выдающийся из всей гудковской шайки-лейки. Так что «Азия» для тебя — самое подходящее место.

Они сидели в крохотной и уютной кухоньке под шкиперской, пили чай с дешевыми конфетами и французской булкой, и Сергей Артемович по праву старшего, напустив на себя суровость, что совсем не шло к его доброму стариковскому лицу, не обращая внимания, что Нина и Петр Крохалев сидят рядом, смущая парня, говорил Митьке строго и назидательно:

— Значит, так... Никаких вольностей, — Кошовкин прищурил глаз и этим прищуренным глазом показал в сторону внучки. — За разные вольности списываю на берег.

Нина хотела что-то возразить, но дед мягко остановил ее:

— Помолчи пока. Шкипером тут я. Должен же человек знать, чего здесь можно, а чего нельзя. Скажем, курить. Курить только в строго определенном месте. Народные грузы возим.

— Я некурящий.

Митьке совсем не понравилось, что баржевой в таком подчеркнуто-наставительном тоне разговаривает с ним при посторонних. «Кажется, зря я из артели ушел...» А баржевой заметил, как новый матрос заскучал, еще больше распалился:

— Работа у нас не шалей-валяй, как некоторые думают. Потяжелее, чем в вашей артели будет...

Но тут вмешалась Нина. Поднимаясь из-за стола, она сказала устало:

— Хватит, товарищ командир. Измучили человека. Не понравится — уйдет на берег.

Кошовкин смотрел на внучку кротко и растерянно, и тут Митька понял, что старшим на «Азии» Кошовкин считался только по штату, на самом деле старшей была здесь Нина, и ей подчинялся баржевой.

— Подожди, подожди, внучка. Еще пару слов молодому скажу. Значит, так: получать будешь столько же, сколько в своей шарашке, даже больше. Где погрузить, где разгрузить поможешь, к основному матросскому жалованью это приварок. К тому же рейсовые, рулевые. Работенки хоть отбавляй. Баржа всю навигацию на воде.

— А где же она должна быть? — изумился Митька.

— На воде — это на плаву, значит, на фарватере, в деле. Не заскучаешь!

Скучать действительно было некогда. Трюмы «Азии» были забиты до отказа мукой и сахаром, на палубе громоздились бочки с керосином и растительным маслом, ящики с мылом, мешки с цементом и солью, огромные бутылки с лекарствами. В войну большинство судов Амурского товарищества было затоплено или приведено в негодность, и те немногие, доставшиеся Советской власти, мало-мальски пригодные баржи и плашкоуты люди ухитрялись загружать так, чтобы не только восполнить старый объем перевозок, но и значительно превысить его. Нижнеамурье начинало необыкновенную жизнь, оно жадно требовало гвоздей и мануфактуры, учебников, семян и машин, отсылая взамен строевой лес, руду, пушнину и рыбу. Не было ни метра свободного места на транспортах, не было там и покоя.

Когда Митька работал грузчиком на пристани, он часто с любопытством заглядывался на реку, по которой безмятежно плыли пароходы и баржи. Жизнь на них с крикливого, суетного берега казалась ему безжизненно сонной и ленивой. Став матросом «Азии», экипаж которой состоял всего лишь из трех человек, он с первой же вахты ощутил, как был несведущ в этих делах и по-младенчески прост до сих пор. На барже на него навалилось столько разных обязанностей, что рубаха не просыхала на спине,

больно саднило все тело по ночам. Он крепил грузы, убирал палубу, на маленьких пристанях, когда невозможно было сыскать грузчиков, таскал на берег ящики, катал бочки, а потом еще часами стоял у штурвала, следил, чтобы «Азия» шла «точь-в-точь» по белому следу из пены, оставленному старым «Витязем». Первое время, пока не разобрался, Митька думал: это шкипер так устроил, чтобы матрос не рассчитывал на сладкую жизнь, науку ему учинил. Но потом, к своему стыду, увидел, что и Кошовкин, и его внучка не сидели сложа руки. В любое время и для них находилась работа.

Привычный к тяжелому труду, сообразительный, новый матрос, к нескрываемому удовольствию шкипера, быстро втянулся в трудную, беспокойную и в общем-то несложную жизнь на барже. Он был теперь даже рад, что так обернулась его судьба. Не за горами окончание навигации, скоро он сойдет на берег и вернется домой на собственной лошадке. Кормежка на барже неприхотливая, но подходящая и вволю ее. Обязанности хоть и хлопотные, но все, что он делал, шкипер записывал огрызком карандаша в клеенчатую тетрадь — значит, работу он выполнял оплачиваемую, что приближало приобретение лошади. А потом были и спокойные часы. Освобожденный от вахты, он спускался в тесный кубрик около якорного ящика, где у него была своя постель, и под усыпляющее журчание воды за тонким железным бортом, под предостерегающее гуканье «Витязя», изумленно думал обо всем, что случилось с ним. О своей коротенькой жизни, которая неожиданно вдруг выскочила из ровной и привычной колеи и понеслась по буеракам и рытвинам.

Митька знал, что Каленов хутор — только крохотная песчинка в огромном мире, который он и вообразить не мог: не вмещался огромный мир в его сознании. А тут вдруг стала открываться перед ним эта необозримая земная сущность с призрачно-синими белоголовыми сопками на горизонте, с тайгой, строгой и таинственно-молчаливой, с озерами и старицами, с буйно-зелеными островами, над которыми беззвучно парили непуганые птицы, с деревнями, деревеньками, с большими и красивыми русскими селами, с нанайскими и гиляцкими стойбищами, где живут непонятные люди. Не было начала и не было конца неизмеримой огромности, новизне и красоте земной. Какой крохотной должна быть песчинка — его хутор, ес-

ли земля так велика, если и за этими лесами-далями простираются новые дали и живут новые люди! Увидеть бы все да рассказать на хуторе — не поверят. Особенно мама. Она ведь всю жизнь безвыездно прожила на одном месте. Только когда теперь доведется рассказать-то? Домой осенью, наверно, нельзя еще будет. Не успокоится никак распроклятый Осьмухин...

В густом водовороте новой непривычной жизни, новых дел он старался не думать о хуторе. Но когда на какое-то время он вырывался из этого водоворота, воспомина-ния о матери, Насте, бабушке неумолимо наваливались на него с удвоенной силой и болью, нежностью и тревогой. Думать становилось неразрешимо трудно. Выбраться бы им всем на простор, в город, скажем, но в семье нет ни одного человека, способного решиться на такое, кроме, может быть, Насти. Дед стар, сестра его на ладан дышит, жизнь из нее, как вода из решета, уходит, а мать совсем-совсем хвора... Осьмухин, как хищник, подкарауливает, следит за каждым шагом Каленовых. Не простит теперь он им... В его кулаке Каленовы до смертного хрипа зажаты. Только какая-нибудь случайность может спасти их от позора и правосудия Советской власти. Ведь и Владимир Семенович, который определил Митьку на «Азию», смотрел на него нехорошо как-то, подозрительно. Не случайно все это... Значит, что-то и впрямь случилось с отцом...

Раздумывая таким образом, Митька мрачнел, замыкался, и только работа успокаивала его. Он жадно брался за любое дело, старался не оставаться в кубрике один на один с угнетающей, монотонной тишиной и нелегкими размышлениями, больше вертелся на палубе, и баржевой не уставал радоваться расторопному матросу.

— Ох, внучка, и матросика ты мне раздобыла! Клад золотой, а не парень. Этот, вот увидишь, деньги пестом в чулок будет заталкивать.

Нина затаенно и непонятно улыбалась, и не замечал старый шкипер, как таинственно и задумчиво загоралась и сразу пугливо гасла эта девчоночья улыбка. Он был очень занят и, может быть, сух сердцем, чтобы увидеть, как темнеют и загораются голубые глаза его внучки при виде молодого и ладного матроса, с какой готовностью и старательностью она оказывает ему разные услуги — подает миску за столом или стирает рубаху.

Митька однажды рассеянно как-то подумал, что Нина, всегда веселая, беззаботная, почему-то вдруг притихла, стала чаще уединяться с книжкой, которую, заметил, не очень внимательно читала. Больше смотрела на разбегающуюся от баржи воду или далеко-далеко вперед, хотя в этой дали ничего нельзя было разглядеть, кроме сизой синевы или далекой береговой полосы.

...Тогда «Витязь» отшвартовывался от маленькой пристани, и Митька, черпая за бортом воду большим деревянным ведром, скатывал с шершавой палубы мусор, оставшийся от разгрузки баржи. Нина сидела неподалеку на ящике и смотрела, как он работает. Митька просто так, чтобы не скучно было, спросил, почему их баржа называется «Азией».

— Азия — это часть света, — будто кому-то другому, а не ему, сказала Нина. — Мы живем в Азии. Она огромная. Больше сорока трех миллионов квадратных километров. Ты ведь знаешь, что такое километр квадратный?

— Нет... Я почти не учился. Школа далеко, мать больная... А ты вот городская и грамотная!

— Какое там... С пятого на десятое. Дедушку вот жалко одного оставлять, а то бы уехала на доктора учиться.

— Почему на доктора?

— Не знаю. У меня мама и сестренка от тифа умерли. А тебе ведь тоже учиться надо, Митя...

— У меня не получится. Работать надо. В доме, как мой дедушка говорит, последний таракан с голоду помер...

Они замолчали, потом Нина тихо, очень тихо спросила, и он вздрогнул, будто кто-то другой, внутри его, ожидал этого вопроса:

— Митя, ты когда-нибудь влюблялся?

Он чуть ведро не выронил за борт — так многозначительно и неожиданно прозвучал этот вопрос.

— Это ты брось...

Он торопливо ушел за шкиперскую к корме и, прислонившись спиной к теплой надстройке, стал смятенно думать, что нехорошо вот так волноваться из-за девчачьего взгляда, что-то неправильно он сделал, если она смотрит ему прямо в душу и тревожит ее.

За бортом «Азии» сонно журчала, плескалась волна, где-то далеко старательно шлепал колесами по воде, из-

редка недовольно гукал буксир «Витязь», за которым послушно тащилась «Азия». С обоих берегов был слышен неумолчно-однообразный и таинственный шум тайги, вопрошающе-насмешливо перемигивались створы на берегах, бакены, белые звезды на бархатно-синем небе. «Так ли надо было?» А в расплывчатой мгле глухо и успокаивающе стучало старое сердце «Витязя»:

«Так, так, так...»

Белые звезды над головой, плеск волн, загадочный гул леса — все это, казалось, из вчерашнего дня вернулось вместе с взволнованным дыханием Насти, ласковыми ее словами и встревоженным жаром губ. И он старался сейчас думать о ней, но во всем его существе, в висках, в сердце уже упрямым и торжествующим звоном отдавался безрассудный голос старого «Витязя»:

«Так, так, так...»

А на другое утро «Витязь» долго стоял в какой-то дикой протоке и загружался дровами. Все работы на барже были выполнены, и Митька, соорудив из тонкой мотаузинки удочку, пристроился на корме в солнечном затишке и дергал из протоки карасей. Караси здесь были крупные, непуганые, охотно шли на хлебную приваду, он уже потерял интерес к ним, потому что удовлетворил первый азарт, а не уходил только потому, что было неловко встретиться с Ниной. Он не знал, как говорить с ней, как смотреть на нее. А дедушка Кошовкин спал еще после ночной вахты, и надо было подождать, когда он проснется.

Митька не услышал, как сзади подошла Нина.

— Ой, карасей-то сколько! Зачем ты их столько наловил? Пойдем лучше купаться.

— Половлю еще... Клев хороший.

— Не жадничай. У тебя же целое ведро их.

— Не пропадут. Уху сваришь, поджарить можно.

Она нагнулась, подхватила леску рукой и ловко перекусила ее острыми зубами. Он почему-то не обиделся, хотя жалко было крючок, и послушно пошел с нею на берег. Здесь, в согретой солнцем траве, было душно и жарко. Над протокой, над раскаленными песчаными берегами струился осязаемо густой, прогретый солнцем голубой воздух, все вокруг было наполнено кузнечиковым стрекотом и птичьей возней. Это так напоминало родные места!

— Митя, спускайся ко мне!

Увидев, как Нина сбрасывает с себя платье, он смутился и пошел прочь.

— Глупый. Совсем глупый! Ты, наверно, и плавать-то не умеешь! — крикнула она.

За крутой излучиной он быстро искупался в теплой, припахивающей тиной воде и, выбравшись на берег под коренастый дубок, прилег на траву.

«Зачем она так делает... Надо сказать ей. Нехорошо ведь...»

Незаметно он уснул и во сне увидел Нину. Он целовал ее в горячие губы смело и ненасытно и почему-то называл Настей. А когда приоткрыл веки, увидел, что Нина сидит на траве, поджав ноги, и смотрит на него так же, как и вчера, робко и тревожно.

Снова часто и гулко забилось сердце, и, стараясь ничем не выдать себя, он закрыл глаза...

А в конце навигации, когда последним рейсом «Витязь» с «Азией» возвращались из Николаевска-на-Амуре, произошел тот случай, который надолго уложил Каленова в больницу. В Николаевске заднюю часть баржи загрузили бочками с бензином для одного из строящихся леспромхозов. На первой же пристани, куда поставили баржу под дополнительную погрузку, по распоряжению какого-то шустрого и неумного начальника, взопревшего от жары мужичонки в кожаной фуражке и галифе с кожаными лямками, на баржу посадили несколько семей, завербованных в этот же леспромхоз. Вербованные заняли нос баржи, расставили там палатки из одеял, развесили холщовые люльки с ребятишками, расстелили широкие постели между штабелями грузов, и стала баржа походить на цыганский табор — с песнями, гармошкой, несломкаемым гвалтом.

Кошовкин строго-настрого предупредил, что курить на барже нельзя, Каленов зорко присматривался к вербованным, а все равно недосмотрел.

К леспромхозовской пристани «Витязь» подошел глухой ветреной ночью. Митька, поеживаясь от мокрого холода, стоял у носового кнехта, ждал, когда баржу подтянут к причалу, и вдруг увидел, как ослепительно вспыхнула, оглушительно взорвалась подветренная сторона «Азии». От неожиданности он сразу даже и не сообразил, что загорелись бочки с бензином.

Вербованные, охваченные паникой, бегали по барже, кричали, волочили по грохочущей палубе сундуки со скарбом, искали затерявшихся ребятишек, а среди них, стараясь усмирить животный страх на барже, ругаясь на чем свет стоит, раздавая беспощадные зуботычины, метался шкипер Кошовкин. Он был грозен и страшен в эти минуты — сухонький старик в тельняшке, черный от копоти и злости. И Митька, зараженный этой злостью, тоже кинулся было в людскую гущу, чтобы помочь Кошовкину, но услышал, как из шкиперской ему крикнула Нина:

— Митя, крепи!

Шкипер оставил Нину у штурвала, и она подвела баржу к пристанскому борту. «Очень хорошо подвела», — подумал Митька, потому что легко и быстро укрепил чалку.

Люди, сталкивая друг друга со сходен, ринулись на берег. И тогда, схватившись руками за леера, Митька уперся спиной в толпу, приостановил ее на какое-то мгновение, быстро, чтобы толпа не набрала новую силу, стал грудью к ней и со всего маху съездил по перекошенной роже какого-то испуганного мужичонку.

— Назад, скотина! Первые — с ребятишками!

Порядок на сходнях был восстановлен, и скоро толпа галдела и вопила уже на берегу.

Вся корма баржи занялась огромным и зловещим факелом, далеко осветившим берег с редкими домишками на нем и снующими людьми, мрачный «Витязь», с которого из шлангов поливали «Азию» беспомощными струйками воды. Митька вместе с Кошовкиным, Ниной и еще какими-то людьми начал носить на берег мешки, ящики, катать бочки, не замечая тяжести их и ничего вокруг.

Его дернул за руку шкипер:

— Каленов! Документы в шкиперской! Забыли!

Шкиперская уже занялась веселым огнем, но они побежали к ней — баржевой и матрос, еще не зная, как спасут документы из этого ада. Митька как-то равнодушно, будто о чужом, подумал, что вместе с судовыми документами в деревянном сундучке Кошовкина лежит его узелок с тридцатью рублями. Их Крохалев и Владимир Семенович отобрали у Скобы, а Митька отдал деньги на хранение шкиперу. Конечно же, надо спасти деньги, потому что это уже половина его лошади, полуосуществленная мечта его. Но не добежали они с Кошовкиным до шкиперской.

Новый взрыв потряс баржу. Все тело Митьки объяло нестерпимо горячим жаром. Обезумев от боли и ужаса, он кинулся к борту и, обдирая кожу на ладонях, перевалился через канатные леера.

Кузькин просыпается рано. Он старается не шуметь, чтобы не разбудить Каленова, но тот слышит все. Люди, надолго прикованные к постели, спят мало и чутко.

За единственным окном палаты, на густо-черном небе ни светлиночки еще не видно. Только через час-другой нечетко прорисуются ветки тополя и краешек какого-то сарая во дворе больницы. Тогда будет пять часов утра. До них еще далеко, и Каленов радуется про себя, что Кузькин проснулся и уже этим внес какое-то разнообразие в бесцветную тягучую больничную монотонность.

Он знает, что сейчас Кузькин попросит, чтобы Каленов не смотрел на него, начнет делать зарядку, а потом встанет на костыли, концы которых для бесшумности обмотаны бинтами, и до самого утра будет ходить по палате от кровати к окну и обратно, чертыхаясь от усталости и скуки.

— Ты спишь, Каленыч?

— Нет, не сплю.

— Тогда не верти башкой. Ладно? Не смотри.

— Действуй!

Кузькин начинал делать зарядку.

Если не смотреть на него, то может показаться, что взводный борется с кем-то. Дыхание у него сиплое, трудное, с присвистом. Упершись единственной ногой и тонкими руками в кровать, он долго и упрямо отжимался. Потом в изнеможении падал на грудь и лежал, зло поскрипывая зубами. Жалко смотреть на взводного. Как только душа держится в этом изуродованном теле? Силенок от рождения кот наплакал, а он их растрчивает не по делу. Митька не предполагал, что таким образом можно как-то укрепить свои силы, и потому думал, что неуравновешенный Кузькин от безделья и скуки придумал себе эту трудную игрушку.

Месяц назад доктор Сомов принес ему протез — несуразную и грубо сделанную осиновую деревяшку с жесткими брезентовыми ремнями — и костыли. Но у взводного не было сил, чтобы держать на этих подпорках свое из-

болевшееся тшедушное тело. Безмерная радость его после первой попытки пройти по палате сменилась отчаянием и злостью. Через некоторое время, поборов слабость, он все же сделал несколько шагов без помощи Сомова, но какое огромное страдание принесла ему эта маленькая победа! Каленов тогда отвернулся, увидев осунувшееся лицо, покрытое мелким потом. Теперь, прежде чем прикрепить протез и встать на костыли, Алексей до изнеможения занимается зарядкой.

— Ни хрена, Каленыч! Вот увидишь, побежит скоро Кузькин по дорожке! Накопит мускулы, освоит эти проклятые ходули — и побежит! Ясный день!

И у Каленова дела скоро пошли на поправку. Не только молодой и закаленный организм, но и грубоватое участие в его судьбе Кузькина, целительное лекарство, которое он достал у нанайцев, спасли ему жизнь. И теперь о своем товарище Дмитрий Каленов всегда думал с горячей благодарностью. До этого ему никогда не приходилось так глубоко и серьезно задумываться о жизни, о себе, о людских взаимоотношениях. Он был молод и слишком прост, чтобы отягощать себя подобными размышлениями. Даже однажды Кузькин, когда Митька сказал что-то невпопад, заметил ему снисходительно и достаточно строго:

— Кожей думаешь, Каленыч, чукотская ты ночь.

— Как кожей? — не понял Митька. — Сгорела у меня кожа.

— Я не о том... Кожей — значит, не головой. А кожей только червяки думают.

Здесь, в больнице, рядом с язвительным и прямолинейным взводным командиром Алексеем Кузькиным началось Митькино повзросление. Сам того не замечая, он учился смотреть на окружающих внимательнее. Митька проникся большой симпатией к Кузькину и уже на многое смотрел его глазами.

Алексей сделал зарядку, подцепил протез и глухо застучал костылями. Даже в этом стуке чувствовалось его раздражение.

— Вот хожу я, Каленыч, тренируюсь, а куда пойду на своих четырех, когда выпишут?

Действительно, положение взводного было не из легких. Истерзанный болезнью, изуродованный, он вызывал жалость. И нечего было думать, чтобы кто-то соблазнил-

ся и принял его на работу. Семей он не обзавелся, родных потерял в войну. Правда, где-то жил у него брат двоюродный, но Кузькин не знал точно, где он живет, не любил вспоминать о нем, а если и вспоминал, то так неуважительно, что было понятно — к брату он не поедет.

— А может быть, и нету у меня этого последнего брата,— говорил Кузькин.— Пристрелили небось где-нибудь наши ребята эту суку.

— Ты же его не знаешь и не видел никогда, сам говорил, а ругаешь.

— Мама зато хорошо знала и отец.

Неразрешимый, казалось бы, вопрос, который постоянно мучил Алексея и невольно беспокоил Митьку, разрешился неожиданно просто. Но этому предшествовали события, которые и удивили Каленова, и напугали его.

Как-то Алексей Кузькин разгуливал по коридору больницы, болтал с больными, шутливо задира л санитарок и сестер, а Митька, чуть ли не в чем мать родила, потихоньку бродил по палате. Белье надеть было нельзя, оно причиняло боль, да и не хотел Митька выходить к людям, стыдился лишний раз показать обожженное тело.

Вдруг за дверью послышался торопливый стук костылей, и в палату заглянул перепуганный Кузькин:

— В постель, Каленыч, мигом!

Митька остолбенело смотрел на взводного. «Шутит Кузькин от скуки!»

— Что стряслось-то?

— В постель, говорю! Человек к тебе!

Митька на цыпочках подбежал к кровати и накрылся простыней.

В палату, в сереньком халатике санитарки и в белоснежной косынке, на которой пламенел крестик, вошла смущенно улыбающаяся Нина. Он давно уже решил, что Нина не придет больше в больницу. Не захочет прийти, если однажды увидела его обезображенным и беспомощным. Здоровые и сильные не любят иметь дело с уродами. Он все чаще и чаще с горечью думал, что и Настя, видно, отказалась от него, потому что не было с хутора ни одного ответа на письма. А сейчас его удивило не только появление Нины, но и то, что на ней был халат и аккуратный медицинский крестик на косынке. Не понимая ничего, он смотрел на девушку, а она приветливо улыбалась,

хотя в глазах ее он невольно прочел не только любопытство, но испуг и сострадание.

— Ты разве не рад мне, Митя?

— Почему... Очень рад. Не ждал тебя.

— Теперь я буду часто приходить. Санитаркой к вам с сегодняшнего дня приняли. Раньше не принимали.

— Санитаркой? Почему санитаркой?

— Чудной ты...— Нина пожала плечами.— А кем же мне еще? За тобой буду ухаживать.

— Ухаживают за мной...

— А я буду лучше. Или не хочешь?

— Не знаю...

Нина повзрослела. На лбу, между бровей, пролегла морщинка, и глаза стали грустными и еще более красивыми от этого.

— Нет, не рад ты мне, Митя...

Кузькин все еще стоял у двери с вытянутым лицом, пораженный не менее Каленова, что эта красивая девчонка будет работать у них санитаркой. Митька глянул на него выразительно, и Кузькин исчез.

— Я вижу, что тебе лучше. Правда, лучше?

Он еще не пришел в себя, растерянно думал: «Зачем все это?»

— Зачем все это? Видишь я какой...

— Глупый. О чем жалеет. Хорошо, что живой остался. Дедушки-то вот нету... Умер дедушка после этого...

— Ты учиться собиралась...— Ему не хотелось говорить о смерти Кошовкина.

— Поеду. Вот как вылечишься, поеду.

— При чем тут я... Ухаживают за мной...

Нина посмотрела на него с укором, как там, на берегу протоки, когда они ходили купаться, и Митька отвел глаза.

— А все равно я тебя сейчас обрадую, Митя. Хочешь?

— Чем?

— Завтра к тебе дедушка Лука Павлович придет.

Он соскочил бы с кровати, но вспомнил, что раздетый совсем, замер под простыней.

— С чего ты это взяла?

— У Гудкова он остановился. Искал тебя на пристани с какой-то старухой.

— С Генераловой, наверно...

— И встретил Гудкова. Гудков-то женился. Знаешь?

— Нет.

— Женился. Она хорошенькая такая. Птичка-синичка. Дедушка твой уже два дня у них живет.

— А что же он не идет-то?

— Приболел с дороги. Ну что, обрадовала я тебя, Митя?

Лука Павлович пришел в больницу в тот же день. Он с порога смотрел на внука растроганно и с тревогой, не замечая, что по его рябому обветренному лицу стекает в бороду одинокая слезинка. И Митькино горло сдавили слезы. Может быть, он первый раз осознанно подумал, как любит деда и как он дорог ему.

— Ну, здравствуй, сынок,— через силу улыбнулся дед.— Вишь, куда ты залетел-то, а?

Он присел на кровать, пробежал взглядом по лицу внука и не смог скрыть, что беглый этот осмотр расстроил и напугал его.

— Ну, ничего... Нам с лица не воду пить. Я вон корявым всю жизнь прожил, а ничего себе... Домой тебе надо. Я бы тебя гусиным жиром побыстрее докторов выходил. Не отпустят, ядри их в душу. Ты хоть знаешь, что я был у тебя? Не пустил, старый хрен.

Рядом завозился Кузькин.

— Ша, дедусь! Там же все слышат!

Лука Павлович уставился на Кузькина удивленно, будто бы только сейчас увидел его. Темный лицом, с редкой растрепанной татарской бородкой, с глазами, окруженными больной синевой, принявшими выражение острое, настороженное, когда дед так бесцеремонно посмотрел на него, Кузькин, похоже, готов был сказать дерзость. Митька испугался этого, торопливо представил друга:

— Это Алексей Кузькин, дедушка, красный командир.

— Вижу. По глазам вижу, непростой человек,— сказал дед равнодушно.

Кузькин сердито поджал губы, выражая этим самым презрение к словам некрасивого и ершистого старика, стал пристегивать протез.

— А ты, парень, носом не сопи,— сказал дед строго,— это ведь я просто так, на зуб тебя пробую. Оставайся и не ходи никуда. У нас секреты с Дмитрием Степановичем небольшие.

Кузькин остался, прилег на кровать, отвернувшись к стене. А Лука Павлович забыл сразу про Кузькина, все смотрел на внука и никак не мог найти ниточку для начала разговора.

— Да... Ошпарила тебя жизнь сразу. Мы с тобой как хотели-то? Поработаешь тут маленько — вернешься. А получилось, что ни к селу ты сейчас, ни к городу.

— Вернусь же...

— Вернешься, это так... Только при новой жизни и подальше зашвырнуть может.

— Не швырнет больше. Вернусь.

— Хорошо бы... Рыбу с тобой ловили бы. Рыбы много нынче. С дровами еле один управился, лодку надо бы подконопатить, все недосуг. Да и поправился бы ты на воле побыстрее, в деле-то...

Пахнуло на Митьку родным от этих простых слов, сердца коснулся ветерок, напоенный шелестом трав и речной волны, банным духом и запахами конской упряжи. Или это от дедовых обуток вкусно так пахнет дегтем?

Лука Павлович поймал его взгляд, спросил:

— А где твои-то сапожки, которые стачал?

— Сгорели.

— Ну и хрен с ними, с сапогами. Ты вот только не писал нам ничего про себя...

— Писал. Ответу не было.

— Это как же так? — стал сердито думать вслух Лука Павлович. — Почты, правда, в станице до сих пор нету, в сельсовет письма привозят. Председатель там приезжий, все время хворает. Может, этот кобель руку приложил к письмам?

Митька понял, что заговорил дед об Осьмухине, глазами показал на Кузькина. Дед сбился, нельзя при посторонних, об Осьмухине и их отношениях с ним, потерял найденную было ниточку к разговору, повторил уже сказанное:

— С дровами я без тебя, паря, управился. Без тебя и в доме и на работе поскучнее стало. На Березовой горке артель стали собирать, а на хуторе пасека артельная будет, травы у нас густые. Меня пасечником записали. Вертайся скорее, помогать станешь. Дел много, только успевай поворачивайся. Семья-то прибавилась...

— Почему прибавилась-то?

Дед хитро блеснул глазами, всплеснул руками, за-

смеялся весело и лукаво, и рябинки на его лице зарозовели.

— Ну ядрено копыто! Забыл, старый карасы! Про главное-то я тебе забыл сказать! Натворил ты, брат, делов и не знаешь ничего? Ты теперь отец! Аж два парнишки у тебя сразу народились!

— Какие еще парнишки? — до сознания Митьки не сразу дошел смысл слов деда.

— Да твои же парнишки! Два мужичка сразу. Орастые! Ты и не знал, голова, что когда с девкой красивой по траве ночами гуляешь, дети от этого получаются!

Митька услышал, как Кузькин двусмысленно хмыкнул, совсем растерялся.

«Елочки-метелочки! Кажется, совсем свихнулся на старости дед! Не может такого случиться так вот сразу!»

— Ты что, и вправду не можешь сообразить, что к чему? — удивился Лука Павлович. — Говорю тебе, что два мальчика у тебя с Настей родились!

Кузькин смотрит на него озадаченно и испытующе, будто первый раз увидел. Митька знает, взводный думает сейчас о Нине. Как, мол, он, Каленов, незадачливый, «вислоухий» сельский Каленов, смог натворить такое — иметь на хуторе жену с малыми ребятами и влюбить в себя красавицу Нину. «Ну, чего ты на меня так уставился, Кузькин!»

Лука Павлович потирает большие ладони. Такое ошеломляющее известие приберег молчальнику-внуку! Деду невдомек, что Митьку обуревают сейчас такие непосильно сложные чувства. Он двигает лохматыми бровями, готовый вот-вот расхохотаться, и начинает подзуживать:

— Ну, и ловок, ядрено копыто! Слова лишнего никогда не сказал, а смотри-ка, такое отмочил!

Взводный поглядывает на сконфуженного Митьку, улыбается сдержанно и криво, а простоватый дед радуется, что нашел сообщника в Кузькине.

— Мамаша все его мальчишкой-несмышленишем считала, все жалела, что в глуши, на хуторе вырос, ничему не научился. Дичок дичком. А у меня байка на этот случай есть. Когда еще были живы его пращуры, случилась у них такая оказия. В стайке жили две свинки и два боровка. Один постарше боровок, а другой еще поросенок. Пестренький такой, веселенький. Мальчишка, в общем. Когда пора пришла — старшего от свинюшек отде-

лили, потому что кормом на весну не располагали и поросят кормить было нечем. Отделили, значит, старшего для безопасности — и спокойнехоньки. А весной-то глядь! В стайке двенадцать поросят пестреньких хрюкают! Во, брат, какую богомерзкий тот поросенок чуду учудил, прашуров наших подвел! Не одну, а двенадцать свиней он им сразу подложил, шельмец непутящий!

Лука Павлович с Кузькиным смеются, и Митька улыбнулся было, но сразу спрятал улыбку. Не желая того сам, дед угодил этой фразой прямо в его сердце. Он-то тоже хорош! В самое трудное для семьи время, не заработав на кусок хлеба, обзавелся такой семьей да еще в больницу влетел, как заяц в силки.

Дед неторопливо развязал заплечный, белый от старости мешок и стал выкладывать на тумбочку для Митьки яйца вареные, вяленых лещиков, пшеничные лепешки, мед в березовом туеске, соленые грибы и зеленую сатиновую косоворотку, сшитую собственноручно Настей, как сказал дед, и ею же красиво вышитой розовыми цветочками по столбцу и подолу. Митьке бы обрадоваться гостинцам, а он смотрел на все отсутствующе. Совестно ему было перед дедом и Алексеем Кузькиным. Правду, кажется, сказал однажды длинномордый Скоба: «Заработаешь на кауру курицу!»

— Что-то ты, друг Дмитрий Степанович, не радуешься подаркам из дому, нос повесил? — заметил Лука Павлович. — Мать велела получше кормиться да скорее возвращаться домой.

— Все еще болеет мама-то?

— А ты знаешь, не болеет! Как твои сорванцы появились, так будто подменили нашу Надежду. Двигается! В хлопотах-то и болезнь прошла.

Лука Павлович обстоятельно рассказал внуку о доме, как ладно, душа в душу, живут они, о Насте, полюбившейся всем за свое трудолюбие и тихость.

Митька слушал деда и вернулся памятью в дом, где родился, где прошло его детство, притих и закрыл глаза. И сразу ему привиделась керосиновая лампа в проволочной подвеске над столом, и в середине стола темный круг. За печкой сверчок посвиркивает, мать возится на кухне, чуть слышно напевая, дед постукивает молотком по березовой чурочке. Настя качает мальцов в широкой зыбке, привязанной к матице, и на коленях у нее греется

котенок. А по всему дому плавает кисловатый и сытный запах пшеничного хлеба, только что испеченного на поду, на капустном листе,— запах, прекраснее и желаннее которого нет ничего на свете. Теплом, покоем веет от всего уклада родного дома, и от этого просто ощутимого воспоминания у Митьки щемит тоскою сердце.

— Я-то все говорю, а ты помалкиваешь,— будто разбудил его своим голосом Лука Павлович.

— Новости, дедушка, все у тебя?..

И тут заговорил Алексей Кузькин:

— У Каленыча насчет разговору строго. Каждое слово — как дорогой подарочек.

Лука Павлович доверительно подмигнул Кузькину, а сам подумал, что негде было учиться внуку разным разговорам. Он придвинулся к Митьке, спросил:

— Говорят, ты пораньше мог бы спрыгнуть с баржи-то?

— Не мог. Ребятишки там малые...

— Ребятишки не одни ехали. Матери у них были, отцы...

Митька промолчал, скосил глаза на взводного. Почему-то неудобно ему стало от слов деда.

— А ты, Дмитрий Степанович, не стреляй глазами туда-сюда! — строго сказал Лука Павлович. — Без тебя знаю, что у чужого горя слезы такие соленые, как и свои. Хочу только испытать — от ума полез в пламень или с перепугу.

«О чем он говорит? На барже страшно не было. Страшно стало только на берегу». Ответил деду совсем другое:

— Тихо... лечат здесь...

— Ничего, казак. Тише едешь — дальше будешь.

— Дальше некуда бы. Уехал бы под лестницу, если бы не Алексей. Он выручил. А так бы каюк...

Кузькин недовольно отмахнулся:

— Брось, Каленыч! При чем здесь я? Организм у тебя хороший.

Митька будто не слышал Кузькина.

— Алексей помог. Лекарства какого-то особого добыл.

Дед засуетился, с благодарностью посмотрел на Кузькина.

— Ну, спасибо, сынок! От души говорю — спасибо, не знаю чем и отблагодарить-то тебя, славный человек!

Алексей совсем застеснялся и, кажется, расстроился. Ершистость его будто рукой сняло.

— Зря вы все это говорите...

— Может быть, свидимся еще... Выписываться-то скоро?

— Я уже на ходу,— Кузькин показал глазами на костыли, прислоненные к тумбочке.— Через недельку, пожалуй, двину.

— Куда же? К отцу-матери?

— Нету у него никого,— вставил Митька.

— Как же это так...— забеспокоился дед.— Без родных плохо. Может, дело знаешь какое или грамотешка имеется?

— Сапожничаю немного, слесарничаю. В училище военном учился. Не пропаду.

— И не слесарь ты, сынок, на костылях своих, и не пекарь. Вот я как думаю, Алексей...

— Васильевич.

— Алексей Васильевич. Нашего Митьку ты выручил. Спасибо. Хотя спасибо, говорят, только попы отделиваются. Поехали-ка со мной на хутор, а? Подышишь вольным воздухом недельку-другую, и работенку подыщем. Сапоги будешь в деревне тачать или другие какие обутки. Школа в станице с войны закрытая, может, там бы начал...

Ни Митька, ни Алексей не ожидали такого оборота дела. Кузькин растерялся, на его лице застыла недоверчивая улыбка.

— Как же так вот, сразу...

— А сразу — лучше! Рраз — и отрезали!

— Так у меня же ноги нету!

— А я и вижу. Но голова-то на месте? Дурная голова, говорят, ногам покою не дает. А умной голове и ноги ни к чему. Нам бы только подводу подыскать да рысцой на хутор.

— Так деньги у меня есть. За два года не трачены.

— Вот и в самый раз. Договорились — и едем!

Скоро Лука Павлович увез Кузькина на хутор, а на его место сразу же положили маленького старичка, скрюченного в три погибели какой-то болезнью, с лицом, похожим на икону, и чуть-чуть тронутого умом. Митька при виде этого беспомощного старичка затосковал, но тут одно за другим нагрянули события, которые сбили Кале-

пова с толку, озадачили, заставили еще крепче задуматься.

Вскоре после отъезда Луки Павловича и Кузькина пришел его проводить Никита Гудков. Он частенько бывал в больнице с тех пор, как узнал, что кроме Митьки, лежит здесь товарищ по службе в армии. Гудков после женитьбы «пить завязал накрепко», работал бригадиром на строительстве какого-то завода. В добротном пиджаке из сукна, в крепких яловых сапогах, в белой рубашке выглядел он сейчас непривычно солидно, по-городскому. И красивее стал Гудков. Ростом крупный, с румянцем во всю щеку, с бравыми рыжими усами, он даже безучастного ко всему тихого старичка заинтересовал. Тот уставился на гостя мутными глазами и все смотрел и смотрел умиленно, пока тот не ушел. Гудков порадовался, что Кузькин уехал на хутор.

— Правильно, там ему лучше будет после этой тюрьмы. Я его хотел к себе, а у меня тоже не мед. Могильник, а не квартира. Деньгой мы твоему деду поможем...

— Не возьмет он...

— Может и не взять. Дед у тебя с замочком, хоть с виду и прост.

Гудков погрозил Митьке большим прокуренным пальцем.

— А ведь и ты, Дмитрий Степанович, тоже не прост, как погляжу. Пришел ко мне в артель этаким кроликом с хутора Каленова, а у самого и жена, и дети. Почему молчал?

Он не стал ждать, что ответит смутившийся Каленов, спросил:

— У тебя знакомых много в городе?

— Никого нет. Только те, что в артели.

— И все?

— Все.

— Странно... Толкался я на барахолке, сапоги подыскивал, подкатывается ко мне какой-то хмырь в тройке из хорошего сукна, в хромовых сапожках, усатенький. Он барахло на толкучке какое-то сталкивал, я видел, спрашивает: «Мне сказали, что вы на пристани работаете? Я Каленова Дмитрия разыскиваю». — «А вы кто ему будете, если не секрет?» Не говорит, только глазами черными сверлит. Не сказал я ему. Подозрительным мне этот хрен показался. Прикажешь — приведу.

Митька наморщил лоб, вспоминая всех своих знакомых. Их было не так-то много.

— Не знаю я такого...

И в этот же день человек сам пришел в больницу к Каленову. Это был Осьмухин.

Уж кого-кого, а Осьмухина никак не думал увидеть Митька. Нина ввела его в палату, посадила на табуретку рядом с кроватью и, увидев, как изумился Митька, вышла.

Осьмухин положил на тумбочку жестяную коробочку с конфетами монпансье, сайку с изюмом, кусок ливерной колбасы, а сам все косил черным глазом на лицо Митьки. И, столкнувшись взглядом с этим черным глазом, Митька понял, что не с добрым пришел к нему Осьмухин.

— Слышал, слышал про тебя! Герой! — лебезил Осьмухин. — Только мне не понять, зачем тебе надо было чужое барахло с баржи таскать. Прыгал бы сразу в воду и тихонько плыл к бережку. Целехонький зато был бы, а сейчас посмотри на себя...

— Зачем пришли, Иван Тарасович? Говорите.

— Сейчас, сейчас. Не торопись. Тебе не на поезд, — не зная, с какого конца начать разговор, нервно суетился Осьмухин. — Вот ведь какая житуха... Не узнаешь, что завтра и с тобой стрясется... Мотря-то у меня померла, и маманя тоже. Слышал? Одна за другой преставились, царство им небесное...

Голос у Осьмухина плаксивый, что, вероятно, должно было выражать траур и печаль, но Митька подумал, что тот определенно комедию играет. Осьмухин небось и радости больше не чаял, чем избавиться от лядащей Мотри и никуда не пригодной уже матери-старухи.

— Вот видишь, не только у тебя беда случилась, а и у меня тоже. Сразу, брат, стал и вдовцом, и сиротой круглым. Больные были обе женщины, слабые...

«Этот сам загробит — не дорого возьмет», — с неприязнью думал Митька, а Осьмухин продолжал:

— Разобрал я домишко и перевез в станицу. Скотинку кое-какую в артель передал. Работаю я, Митя, делопроизводителем в сельском Совете. Фронтовики бывших сейчас поднимают на должности, да и грамотных людей в станице раз-два — и обчелся.

— Вы не с того краю все, Иван Тарасович. Говорите, зачем я вам понадобился.

— Вот ты опять торопишь... Проведать пришел. Мы же земляки небось. Приехал в город кое-какие вещички продать, вот и забежал на минутку.

Осьмухин будто прицеливался, все сверлил и сверлил Митьку черным глазом, рассматривал каждую коросточку на его лице, каждый шрамик. Осмотр этот его, видимо, удовлетворил. Митька увидел, как дернулись губы Осьмухина, услышал в его голосе эту удовлетворенность:

— Да... поджарило тебя что надо. Зря ты в огонь полез...

Митька привстал с кровати, обнажив незажившую грудь.

— Вы зачем пришли сюда?

— Не кипятись! Я же с добром. Ты хоть знаешь, как твои-то живут?

— Все знаю.

— Ну вот... С кваса на воду перебиваются, с гороха на просо. В доме одни старики и больные. А тебе выцарапываться отсюда, вижу, долго. И неизвестно, каким выцарапаешься...

— Издалека начинаете...

— Торопишься? Ну, тогда слушай. В сельсовет станичный уборщица нужна. Напиши Насте, пусть переезжает в станицу. Зарплата у нас, домишко подправим на хуторе, поскольку в советском учреждении Настя будет работать... Мать с ребятишками повозится, а Настя при должности.

— В станице, значит, работницу не нашли?

— Вам хотел помочь. Сердце кровью обливается, как вы живете...

— Обливается, значит?

— Семян выделим. Лошадку на пасеку пошлем. Настька — женщина работающая, а нам такая и нужна.

— Такая, значит, и нужна? — Он спросил спокойно, но ярость уже загорелась в нем — не унять.

— При твоём положении я бы не отказывался от поддержки.

— Уходи, слышишь! Тебе не уборщица нужна, а...

Осьмухин поднялся багровый и злой. Глаза его накалились краснотой, губы дрожали.

— Ну, хорошо. Вспомнишь ты меня! Посмотри, кому ты нужен в этих коростах! Настя красавица! А твои па-

цаны? Они же не записаны и не будут записаны. Потому что незаконные.

Митька выдернул из-под себя подушку и изо всей силы швырнул в Осьмухина. Тот усмехнулся, выругался и пошел к двери. На соседней кровати сидел, склонив голову, блаженный старичок. Он оторопело смотрел на захлопнувшуюся дверь и улыбался.

На следующий день Митька сказал Нине:

— Ты хоть говори мне, когда кто-то хочет прийти...

— Ладно,— с готовностью ответила Нина, и он понял, что весь разговор с Осьмухиным она слышала. «Ну и пусть. Так даже лучше». Ему было искренне жаль Нину. Нина старалась как можно реже бывать в палате Дмитрия, на вопросы его отвечала скупой и односложно. «Что ж... Помается и остынет,— думал Митька.— А так ведь и заблудиться можно от ее глаз, утонуть между двух берегов. Поступать надо: раз — и обрезал! Дед всегда поступал именно так. И, может быть, не всегда здорово у него получалось сгоряча, но зато искренне и честно. Люди, умеющие вовремя взять себя в узду, по земле ходят тверже и прямее. Гудков Никита... Он сейчас совсем не похож на артельного из пристанской вольницы. Алексей Кузькин. Никогда не выбраться бы ему из беды, если бы распустился. А тебе, Каленов,— дурак,— ругал себя Митька,— впредь наука будет! Чтобы людям прямо в глаза смотреть, чтобы не носить в сердце неловкость, не будешь слюни распускать при виде красивых девчонок!»

— К тебе, Митя, Крохалев хочет прийти.

— Крохалев? Это длинный который? Петя?

— Длинный Петя. Он секретарь райкома комсомола.

Митька пожал плечами.

— Зачем я ему понадобился? Может, все из-за баржи?

Нина улыбнулась первый раз за последнее время, и Митька понял, что она знает, зачем к нему должен прийти Крохалев. После отъезда Луки Павловича и Кузькина Нина вела себя с Каленовым как-то загадочно, будто был у нее какой-то секрет. Несколько раньше можно было легко выпытать у нее эту тайну, но сейчас он строго придерживался выработанной им самим же тактики — никаким образом не давать повода для близости.

Крохалев пришел не один. С ним был Владимир Семенович, коренастый немолодой крепыш, который принимал их с Ниной в доме-тюрьме, и незнакомая черненькая девчушка с быстрыми любопытствующими глазами, похожая на вороненка.

У Митьки замерло сердце. Он вспомнил, как когда-то, словно пронизывая насквозь, смотрел на него Владимир Семенович Усольцев. «Я ведь где-то раньше слышал эту фамилию... Каленов!» И Митьку вдруг осенило. «Осьмухин! Осьмухин сообщил обо всем, и пришли они дознаваться про отца!» Перепугавшись, он не заметил приветливости, даже какой-то торжественности в лицах гостей, скис сразу и насторожился.

— Невеселый ты, товарищ Каленов,— поздоровавшись, заметил Владимир Семенович,— совсем невеселый. Устал?

— Устал...

— Ну, мы к тебе ненадолго. Утомлять не будем.

Он улыбнулся Митьке доброжелательно, а Митька, совсем сбитый с толку этой улыбкой, сказал:

— Конечно... Оно сразу лучше.

Все засмеялись и стали рассаживаться на синих табуретках, принесенных Ниной. Крохалев садиться не стал. Он взял из рук черненькой девчушки лист бумаги и, дождавшись, когда уляжется шум, обратился к Митьке торжественно:

— Мы к тебе, Дмитрий Каленов, от имени районной комсомольской организации и по поручению речников. Слушай теперь.

И он начал с расстановкой читать:

«ГРАМОТА

За храбрость и самоотверженность, проявленные при спасении народного добра и советских людей на загоревшейся барже «Азия», районный комитет комсомола и Хабаровский Баскомреч награждают молодого матроса Каленова Дмитрия жеребой лошастью по кличке «Сваха» вместе с телегой и сбруей.

Подписи: Секретарь райкома комсомола
П. С. Крохалев

Председатель Баскомреча
В. С. Усольцев».

Все смотрели на Митьку и улыбались, а он хоть и слышал, о чем прочитал сейчас Крохалев, но до сознания дошли пока только сами слова, а не тот многозначительный и радостный смысл, который они несли. Понадобилось какое-то время, чтобы Митька пришел в себя, и после этого его недоверчивый, осторожный крестьянский ум никак не мог справиться с переполохом, который бушевал в нем от появления малознакомых, в сущности, людей, принесших эту головокружительную весть. Лицо Митькино было ошеломленно-глупым, и задал он глупый вопрос:

— Как же так... ни с того ни с сего — и целую лошадь?

— А не целых лошадей не бывает, товарищ Каленов. Ты это должен знать, — серьезно ответил ему Крохалев.

И оттого, что в вопросе была такая несуразность и что на эту несуразность последовал серьезный ответ, все громко рассмеялись.

— Лошадь, Дмитрий, ты заслужил. Комсомольцы-речники в складчину ее купили, — начал было Усольцев, но справившийся с собой Митька воскликнул:

— Да куда же я ее сейчас дену-то!

— А ты ее пока привяжи к кровати. Поправишься — в седло, и галопом на хутор.

Сейчас даже блаженный старичок смеялся вместе со всеми. Митька, совсем сбитый с толку, посмотрел на Нину, но и она смеялась, будто ребенок, получивший долгожданную игрушку.

— С лошадью тебе повезло, — успокоившись, сказал Усольцев. — Сваха хоть и не побежит, потому что степенная и серьезная, но сильная. Из шахты выбракованная.

— Как это выбракованная?

Будто молния мелькнула в памяти: они с дедом и матерью собирались на сенокос стоговать сено Осьмухина. Уже садились в лодку, как пришел на берег Осьмухин и кинул в лодку большого гуся. Дед сперва обрадовался — с хорошим приварком едут на сенокос, а потом засомневался: не цыпленка ведь, а целого гуся принес им скупердяй Осьмухин. Вслух спросил:

— Что-то ты, Иван Тарасович, летом домашних гусей взялся резать?

— Выбракованный гусь. Крыло сломал.

— А куда ему было лететь-то?

— А ты бы и не спрашивал. Дарованному коню в зубы не глядят.

Когда на сенокосе мать стала потрошить гуся, нечем стало дышать — птица оказалась протухшей. И сейчас Митьку напугало странное и незнакомое слово — выбранный.

— А ты, Дмитрий Степанович, не сомневайся. Кобыла добрая. В шахте темнота, стала Сваха зрением слабая, вот и освободили ее. Дедушка твой толк в этом знает, похвалил лошадку.

— Как похвалил?

— Так дед твой сейчас на Свахе в деревню Кузькина везет! Кстати, за Кузькина вам спасибо. Не знали мы о нем ничего, а жаль. Теперь, как отдохнет в деревне, заберем его в город. Нам такие парни нужны.

— Вот это да... Ой, спасибо вам!..

Нина стояла спиной к окну, солнце золотило ржаные кудряшки на ее висках, большие голубые глаза излучали радостный свет. Митька понял, что Нина тоже причастна к его радости. Ведь никто не знал, как бестолково сложились его дела в этом непонятном городе, как сложились дела его семьи. И непостижимость бескорыстной ее любви, внезапного чуда, обрушившегося на него, сбивали с толку: «Что-то тут не так... Лошадка ни за что ни про что дарена...» В городе не было у него времени, да и желания заводить с кем-либо большую дружбу, а друзей оказалось у него много. Приходил в больницу неповоротливый и громогласный Никита Гудков, навещался не по возрасту степенный и серьезный Крохалев, забежал на минуту-другую всегда занятый Владимир Семенович, Нина все свободное время проводила в больнице. Она, поддавшись молчаливому требованию Каленова, уже не заговаривала с ним о своих чувствах, объясняла, что ей одиноко без дедушки, совсем стало пустынно в доме, поэтому она и торчит все время в больнице. На людях веселее.

Летом приехала Настя.

Он никого не ждал с хутора. Работы в эту пору там по горло, летний день год кормит, а на руках у Насти и матери два мальчика. Ему было бы стыдно, если бы кто-то из родных бросил сейчас дела и приехал к нему. И так подвел он всех своей болезнью. В самый раз бы ему самому вернуться домой, но проку от него там мало, только

лишний рот за столом. Может быть, даже хорошо, что он не мозолит им глаза своими болячками, не сидит на дармовом хлебе, а кормится казенными харчами. Трудно даже подумать так, но в его положении лучше находиться здесь, в больнице. Тосковал Митька по дому, птицей рвалось его сердце к родным и стонало от отчаяния, как больное дерево в ненастье.

Митька стоял у раскрытого окна полуобнаженный, потому что нельзя еще было одеться как полагается, дышал чистым воздухом с улицы, пахнувшим травой и солнцем, и грустно думал о доме, о Насте, которую не узнал еще как следует. Были-то они всего-навсего несколько коротеньких дней вместе...

Сердце болело от этих мыслей, а отогнать их не мог, они кружились, как воробьи над током, ничего с ними не поделаешь. Да и думать ему больше, собственно, не о чем было...

Митьке показалось, будто открылась дверь, но он остался стоять у окна не оборачиваясь, хотя душа его испуганно встрепенулась. Он напрягся весь.

— Митя...

Голос Насти прозвучал еле слышно, будто листочек прошелестел под ветром, но он сразу узнал этот голос и, обернувшись, медленно пошел навстречу ей, даже не подумав, что нехорошо оставаться вот так, полуодетым. Настя смотрела на него широко раскрывшимися глазами, и побелевшие губы ее неслышно шептали его имя.

Двое суток Настя провела около Митьки в больнице. Доктор Сомов (он сейчас был главным врачом) распорядился, чтобы блаженного старичка на время перевели в другую палату. Нины тоже не было все это время. Сославшись на болезнь, она не появлялась.

Настя изменилась и еще больше похорошела. В движениях, еще недавно нерасчетливо-угловатых, появилась неторопливость и плавность спокойной и уверенной в себе женщины. Плавность эта виделась и в линиях сильного молодого тела, и в тихом добром голосе. Он смотрел и смотрел в ее карие удлиненные глаза с тоненьким темным райком, трогал губами эти глаза, губы, волосы и не мог свыкнуться с мыслью, что перед ним — жена, мать его мальчишек. И другое чувство примешивалось к его восторгу — чувство виноватости перед Настей и всей семьей. Она понимала это и успокаивала его.

— Ничего... Все обойдется. Ты только лечись и не думай ни о чем. Хотя вертаться тебе надо. Заждались мы совсем, Митя. Лечись. Набирайся сил, дома ведь тоже не мед. Домишко разваливается, скудость во всем. Дедушка совсем старый. Ребяткам, правда, мало надо, но ведь они растут...

— Как хоть назвали их? — стесняясь, спросил Митька.

— Который побольше — Павлушей, а маленького — Васей.

— Почему один большой, другой маленький? Ты же говорила, что двойняшки они, одинаковые.

— Глупый ты совсем, Митя... — зарделась Настя. — Совсем глупый. Двойняшки и есть.

Ему не понять было этого, и он заговорил о другом:

— Сейчас вам должно полегче быть, с лошадыю-то...

— Лошади, Митя, нету у нас. Не хотела я тебе говорить про это. Отобрали у нас лошадь.

— Неправда! Дареная лошадь-то!

Он готов был заплакать. Будто проклятие нависло над их домом, и никуда не уйти от него.

Похоронив мать, а через месяц и жену, Осьмухин заперся у себя в доме, пил беспробудно в одиночестве, а во дворе были голодные собаки, ревмя ревел некормленный скот. Не выдержал Лука Павлович. Вместе с Настей и невесткой пошли они к Осьмухину.

— Убиваешься ты по Матрене и по матери, Иван Тарасович, понятное дело... Но животных приглядеть надо бы. Погибнут...

Они чистили в стайках, задавали корм скотине, прибирали в доме Осьмухина, а он, улучив момент, когда не видел Лука Павлович и Надежда, остановил Настю:

— По тебе убиваюсь, Настя! Нету жизни — и все! Ты думаешь, зверь я, а ведь от моей смурной жизни не поболеешь. Все у меня есть, посмотри, — а ничего нету. Потому что без тебя. Хочешь, на коленях буду просить, все сделаю, как велишь! Нет жизни без тебя, Настюшка!

Никогда не видела она самоуверенного Осьмухина с таким вот лицом, несчастным, искаженным от страдания. Ей даже жалко стало его в эту минуту, красивого, сильного и униженного. Она вырвала руку и, не дожидаясь свекрови и Луки Павловича, убежала домой.

Вскоре Осьмухин раскатал усадьбу и перевез ее в станицу. Скот продал, а часть его предусмотрительно пере-

дал в артель. В станице началась коллективизация. Закипели там новые для людей события и страсти.

Большинство крестьян не захотело идти в артель. Это были зажиточные крестьяне, имеющие хорошие земельные наделы, рубленые дома, скот и хозяйственные постройки. Из поколения в поколение еще совсем недавно все они несли службу в уссурийском казачьем войске, были опорой правительства и поэтому заботливо опекались им. И, конечно же, организацию в их станице артели, в которой права и обязанности будут уравнены с правами и обязанностями голодранцев, считали грубым посягательством на их благополучие.

Веками дремавшая станица вдруг всколыхнулась, сдвинулась с места: людскими сходками, сплетнями, столкновениями станичников под лютый крик испугавшихся завтрашнего дня баб, под мычание коров, сгоняемых в общественное стадо.

Настя ходила в сельсовет, чтобы записать Павлика и Васю, получить на них метрики. В сельсовете никого не было, кроме Осьмухина, и он, не теряя времени, повел старый разговор о своей любви к ней.

— Зря вы все это говорите. Я пришла ребят записать.

— Незаконные твои ребята, потому что живете вы незаконно, не венчаны, не расписаны. Не дам я метрики, не имею права. А если переедешь в станицу и станешь работать в сельсовете, что-нибудь придумаем...

Так ни с чем и ушла Настя. Хотела она попросить помощи у Алексея Кузькина, когда Лука Павлович привез его на хутор, но, вспомнив угрозу Осьмухина, оставила эту мысль.

Кузькин, рассказывала Настя, в доме понравился всем. Он, правда, был шумный, но, по всему виду, добрый человек и веселый. Кузькин на хуторе пожил недели две. Лука Павлович узнал, что сельский Совет ищет грамотного человека, чтобы тот помог организовать в станице школу, и сразу после пасхи повез Алексея в станицу.

Когда они вошли в помещение сельсовета, заметил старый Каленов неладное. Кузькин как-то внезапно насторожился, уставившись на Осьмухина потемневшими глазами. И секретарь сельсовета повел себя странно. Нового человека в станице оформил в школу уж очень быстро, даже торопливо, даже не расспрашивая ни о чем.

На улице Лука Павлович спросил у Алексея:

— Ты прости меня, старого, Алексей Васильевич. Кажется, на знакомого ты нечаянно налетел, а? Или на сродственника?

— Кажется, на сродственника,— задумчиво, будто себе, а не Каленову ответил гость, и старик, смекнув, что между Осьмухиным и Кузькиным есть какая-то тайна, не стал больше ни о чем расспрашивать.

Устроив Кузькина на постой к нестарой и одинокой вдове Марии Щелкуновой, Лука Павлович заночевал в станице. Нужно было подковать лошадь, купить керосину и мануфактуры. Только на другой день поздно вечером отправился он на хутор.

И версты не проехал старый Каленов, как нагнали его трое верховых и стали отбирать лошадь. По распоряжению Советской власти лошадь должна быть обобществлена. Все, кого приняли в артель, даже поросят туда отдали, а Каленов, видите ли, как помещик, разъезжает на собственной лошади.

Когда обо всем этом узнал Алексей Кузькин, он пошел в сельсовет. Там сразу же согласились, что произошла ошибка, заверили, что лошадь старому Каленову вернут, как только из города пришлют ему справку о том, что его внук награжден лошадью. Но через несколько дней в артельной конюшне пало сразу три лошади, в том числе и каленовская Сваха: кулаки начали открытую войну.

...Поздней осенью, через год с небольшим, Дмитрия Каленова выписали из больницы. Он ждал со дня на день этого часа, но то, что выпишут его так буднично просто, не думал. Понимал, конечно, что для больничных работников это дело обыкновенное — выписать вылечившегося, но ведь у него столько дней, столько бестолково громоздких и неуютных ночей копился в груди этот прекрасный праздник! Дежурная сестра принесла ему синенький листочек и, улыбнувшись, сказала:

— Ну, вот и все, Каленов. Вы здоровы. Можете идти домой.

— Как, насовсем? — глупо спросил он.

Сестра развела руками.

— Прижился! Домой надо!

Нина принесла одежду — суконную красноармейскую гимнастерку, диагональные брюки и сапоги, совсем хорошие яловые сапоги, каких он никогда не носил. Нина

придирчиво, будто сама шила всю эту одежду, оглядела Митьку с ног до головы и радостно засмеялась:

— Да ты красивый!

— Слушай, Нина, откуда одежда?

— Не знаю...— пожала плечами.— Кажется, Никита Гудков принес. Но это уже не важно. Куда ты сейчас, на ночь глядя?

Ни одного адреса в городе он не знал. Можно было бы пойти к старухе Генераловой, но Митька сразу же отказался от этой мысли.

— Может быть, к Гудкову? — неуверенно спросил он.

— А ты хоть знаешь, где он живет?

— Нет.

— А я знаю. Хочешь, провожу?

Закатное солнце пробилось последним лучом через бледно-розовую оконную занавеску, и всю фигуру ее, тоненькую, ладную, окрасило в малиновый цвет. Он залюбовался ею, но спохватился, вспомнив, что совсем недавно корил себя за двуличность. И насупился.

— Может, не надо к Гудкову-то?

— Боишься идти? Не бойся. Никто тебя не украдет. Никому не отдам.

Больница, где так долго лечился Каленов, стояла на высокой горе, а он даже и не знал этого. Спуск к дороге крутой, скользкий от пролившегося днем дождя, и Нина взяла его под руку. Ему было непривычно и вместе с тем уютно идти вот так, и он чувствовал, что Нина тоже радовалась. Она без умолку говорила, весело смеялась, сама, видимо не придавая значения тому, что говорит и чему смеется. Он плохо слушал ее, ему казалось, кто-то другой, высокий, сильный и счастливый, идет сейчас по городу с этой красивой и веселой девушкой.

Они остановились около витрины какого-то большого магазина, и Митька увидел собственное отражение. Увидел и не поверил. На него смотрел настороженными глазами незнакомый парень в буденовке, с русой бородкой и усами.

— Доволен? — спросила Нина.— Я же говорила, ты красивый...

Митька покосился на нее, и она смолкла.

На дверях дома, где жил Гудков, висел замок.

— Вот видишь, Гудкова нет дома. Если бы он был, обязательно пришел бы за тобой в больницу. Он же лю-

бит тебя. А сегодня, наверно, уехал к жене. Она собирается рожать и живет у матери.

— Зачем же ты привела меня сюда?

— Затем, чтобы ты сам увидел, что Гудкова нет дома. Теперь придется идти ко мне.

— Это ты брось... Просижу на берегу...— неуверенно сказал он.

— Глупо. Совсем ребячьи разговоры. Сейчас не лето. Простынешь — и снова в больницу.

Она просила его чуть ли не униженно, ему было нехорошо и стыдно, что она так упрашивает его, а он не смеет ей отказать.

Нина жила в небольшом домике, уютном и по-крестьянски простом, разделенном на три крохотных комнаты. Первая, что рядом с кухонькой, принадлежала когда-то дедушке Кошовкину. Там стояла железная узкая кровать, застеленная суконным одеялом, столик с чугунной копилкой и с рисованным портретом Кошовкина — еще молодого матроса канонерки, с лихими усами на серьезном, до смешного серьезном лице. Вторая комната, просторная, служила столовой, а третья, за ситцевыми шторами, — спальней Нины.

— Понравилось тебе? — спросила Нина, когда показала свое жилье.

— У тебя по-городскому...

— Какое там по-городскому! Бедность. А натопить постаралась. Сама люблю погреться, да и ты в больнице отвык от тепла. Там всегда будто в погребе.

— Ты же не знала, что я у тебя буду...

— Перестань, Митя. Знала. Что тут скрывать. А Гудков действительно уехал.

Она быстро собрала на стол, принесла графинчик с водкой нежно-зеленого цвета.

— Водка эта еще дедушкина. Он ее на смородинных почках настаивал. Пахнет летом.

За столом они говорили о разных пустяках, к радости Митьки, не касались их отношений. Постелила она ему на своей высокой деревянной кровати, сама устроилась на узеньком голубеньком диванчике в столовой, и Митька снова благодарно подумал, что все сегодня хорошо получается. Но когда, простившись с ней, он начал уже засыпать, Нина пришла к нему горячая, решительно бесстыдная.

— Не надо меня ругать. Я люблю тебя, и ты давно знаешь, что люблю. И в больницу из-за тебя пошла. Не гони...

Нина смеялась и плакала, осыпала его поцелуями; на минуту-другую, усталая, засыпала у него на плече, а потом снова и снова искала его губы.

Он любил Настю — ровную, спокойную, но, в сущности, он не знал ее так близко, как Нину — порывистую, нежную и неистовую в своих расцветших чувствах. И образ Насти отодвигался. Какое-то время Митька огорченно думал, что поступает нехорошо, но сердце уже не протестовало...

Через несколько дней Каленов пошел попрощаться с Владимиром Семеновичем Усольцевым и Петром Крохальевым. Нина спешила на дежурство в больницу, проводила его до угла улицы, которая вела к райкому комсомола. Остановились под широким старым вязом, она придерживала его за рукав шинели.

— Ну вот и все, Митя... Оказывается, все так просто и так не просто...

— Ты прости меня, Нина...

— За что? Я была счастливой. Это ты меня прости. Прости, и спасибо тебе за все... — грустно сказала она и, круто повернувшись, не оглядываясь, побежала прочь.

Кругом ликовало солнце, город возбужденно шумел на разные голоса, ватажки птиц с дерзким щебетом кружили над садами и палисадниками, поздние георгины кланялись солнцу своими пестрыми, бордовыми и желтыми шапками, он долго мечтал о таком вот дне, когда услышит и увидит все это, ненасытно вдохнет запах умытых деревьев, прелых листьев, пронзительно-чистого воздуха. Но сейчас он смотрел вслед Нине и не испытывал долгожданной радости.

Кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, Митька увидел Никиту Гудкова. Тот был в расстегнутом полупальто, в бесшабашно сдвинутой на затылок фуражке. Всегда простодушное лицо его было сейчас просто необыкновенно счастливым.

— А я тебя караюлю, Дмитрий Степанович!

— Но вы же уехали!

— Правильно. Жена мне, брат, дочку родила, и я на радостях чуть-чуть того... Уезжаю я. Вчера искал тебя. В больнице сказали — выписался. Я к Нине. За штороч-

ку заглянул, смотрю, а там — «у самовара я и моя Маша»! Не стал тревожить. А ты ничего себе... Хорош! — оценивающе оглядел он Каленова.

— Вам большое спасибо за все, — горячо поблагодарил Митька. — Я постараюсь в долгу не остаться.

— Это за что же еще?

— За шинель и за сапоги.

— Не по адресу, брат. Я только на барахолке толкался, а денежки не мои. Нина Кошовкина барахлишко кой-какое загнала. Ты сей минут куда?

— Крохалева хотел увидеть. И Усольцева.

— Во, в самый раз! И мне туда же. Они, брат, такую кашу заваривают!

Пока шли к райкому, Гудков рассказал Митьке, что в канун зимы город оказался без топлива. Его не получили от поставщиков, потому что на шахтах плохо с рабочей силой. Кроме того, многие шахты еще затоплены. Сейчас все учреждения, больницы и школы почти без топлива.

— В вашу больницу школьники по полешку носили, чтобы ты после пожара на барже не замерз там. Можно бы дровишки на лошадях из лесу доставить, но лошадей в городе почти не осталось, всех передали в деревни и станицы. Так вот городской комитет партии и комсомольцы собирают людей, чтобы поработать на шахтах. Крохалев едет, Усольцев, и я тоже.

Когда они подходили к райкому комсомола, еще издали увидели, что вся улица перед зданием запружена парнями с заплечными мешками и сундучками. На крыльце райкома стоял стол, накрытый красной скатертью, и крупный седой мужчина, размахивая шапкой, кричал:

— Без топлива не будет электричества. Станут мастерские, не будут работать пекарни. Если в нашем доме нет дров, мы находим эти дрова — заготовливаем, покупаем, а кое-кто доску от забора чужого оторвет, шпалу стырит. А город — тоже наш родной дом, и мы добудем уголь, чтобы в этом доме было тепло!

Гудков потянул Митьку за рукав.

— Пойдем с черного хода. Здесь не пробьемся.

Они долго не могли найти черного хода, а когда стали подниматься по сырой и затоптанной лестнице на второй этаж райкома, на улице нестройно заиграл ор-

кестр: митинг кончился. Их нагнал возбужденный Крохалев. Он обнял за плечи Митьку и повел за собой.

— Выписался! Отлично. Нечего в такое время в постели валяться. Здесь такие дела начинаются! Ко времени поспел.

Но вспомнил вдруг Крохалев, что Каленов — не городской житель, торопится к себе на хутор, остановился.

— Не то говорю. Ты же, наверно, проститься пришел?

— Проститься...

— Ну, что ж... Там, в деревне, тоже люди нужны... Пойдем ко мне в кабинет на минуточку, там поговорим. Гудков — с нами!

Они поднялись еще на несколько ступенек, и Крохалев снова внезапно остановился.

— Слушай, Каленов, мысль есть! Зачем тебе на хутор? Крестьянской работы там сейчас вовсе мало, зима на носу. Тараканов на печке будешь пересчитывать? Поехали с нами на шахту, а? У тебя же ни гроша? Верно? А там через месяц-другой ты с деньгами. Тебя же полезным ждут!

— Это правда, но я давно дома не был...

— Понятно! Но ведь у твоего деда насчет еды хоть шаром покати, он сам говорил. Или ты уже богатый? А нам люди нужны, понял?

Снизу напирали парни, кричали недовольно на тех, кто создал на лестнице пробку, и Крохалев крикнул им сверху:

— Тише, ребята! Этот парень Дмитрий Каленов. Помните пожар на барже «Азия»? А нашу лотерейку комсомольскую помните на подарок ему? Это тот самый Дмитрий Каленов и есть!

Гнездо

Шахтерский поселок Бурые копи, куда тоскливым дождливым днем прибыл особый рабочий отряд под командованием Усольцева, кажется, давным-давно и навсегда был забыт богом и людьми. Каленов знал, что русские люди умеют и любят строить красиво, добротно и с размахом. Он успел повидать русские деревни на Нижнем Амуре, сколько раз любовался казачьими дома-

ми в станице Березовая горка, с высокими крылечками, с резными наличниками и ставенками, но когда шел с отрядом по поселку, с сожалением и даже испуганно думал, что опять судьба занесла его черт знает куда. Как только живут люди в этих вот заросших седой плесенью хибарах, притаившихся за дряхлыми заборами, утонувших в зеленых лужах протухшей воды. Даже их бедный дом по сравнению с шахтерскими ветхими и странными сооружениями показался бы роскошным, потому что был заботливо ухожен. Какими же бедными, думал Каленов, беспомощными, а может, и беспечными должны быть люди, которые спят, едят, рожают детей под этими унылыми крышами, ходят по этим черным дорогам, непросыхающим от угольной грязи!

Под сапогами сотен людей, которые бредут по поселку, дорога чавкает, хлюпает, стонет, а люди, продрогшие и усталые, сердито ругают дорогу, вязкую грязь, прилипающую к ногам, и тех, кто соблазнил их приехать сюда, и поселок, равнодушно притихший сейчас и чужой.

— Паскудная жизнь! Заработаешь, кажется, тут на уши от сапог! — ворчит кто-то в толпе.

Каленову кажется знакомым высокий голос, но он не останавливается на этой мысли, потому что уныло думает о том же самом. Он шагает устало и ссутулившись, глубоко засунув стынущие руки в карман шинели. Никто, глядя на него, не догадался бы, какие горькие мысли одолевают его сейчас. Никто, кроме Петра Крохалева. Он-то знает, о чем думает Каленов, почему он так равнодушен ко всему и мрачен.

Крохалев идет чуть впереди него. В другое время посмеяться бы над его нескладной фигурой — высокой, тонконогой и длинношеей. Но сейчас не до этого. Челюсти не охота разжать, чтобы сказать слово...

Крохалев отошел в сторону, щепочкой стал счищать с сапог комья грязи. Каленов сделал то же самое.

— Ну что, Каленыч, устал?

— Немного...

— Это без привычки. Ты же столько в больнице пролежал. Скоро придем на нашу дачу.

— На дачу? На такую же небось? — Каленов показал на полуразвалившийся домишко.

— Точно. Барак. Раньше там каторжные жили.

— В этих домах, кажется, тоже.

— Нет, здесь вольные, рабочий класс.

— Жуткое место...

— Худа без добра не бывает. С таких мест революция начиналась и гражданская. Когда-нибудь мы эти развалюхи сломаем и построим хорошие дома.

— Сколько тебе лет, Петро?

— Двадцать три. Почему спросил?

— Ты ненамного старше меня, а не всегда понятный. Взрослый ты какой-то...

Крохалев усмехнулся:

— Взрослый! Давай пропустим ребят, я тебе кое-что расскажу.

Уже далеко ушла колонна, а Крохалев все очищал свои сапоги. Каленову надоело ждать и смотреть, как преднамеренно не торопится Крохалев.

— Сколько ты в школе учился, Каленов?

— Три года...

— А я ветеринарный фельдшер. Потом росли мы с тобой в разных местах и чуть в разное время. Ты очень славный парень, но у тебя не хватает...

— Как это не хватает? — обиделся Каленов.

— Я не про то... Большевистского образования у тебя не хватает. Понял? Происходят такие события, а ты, хороший русский парень, живешь все время у себя на хуторе. И измерения у тебя мелкие, хуторские. А в городе даже не попытался присмотреться, что делается вокруг тебя. Ты хоть знаешь, кто такой Усольцев? Наверное, даже хорошо лица его не рассмотрел. Правда? Усольцев все время думал и сейчас думает о тебе и о других, которые в этой колонне. У тебя не хватает общественного образования. Вот, брат, в чем дело-то! Ты же не знаешь, кто такой Гудков, правда?

— Знаю. Я у него в артели работал.

— Мы с тобой на разных языках говорим. Ты видишь, что он хороший мужик, а что ты еще о нем знаешь?

Под натиском каких-то больших по смыслу и не совсем обычных слов Каленов растерялся.

— А обо мне что знаешь?

— Что ты какой-то беспокойный...

— Во! В самую точку! Я неистовый! А почему? Потому что иду вот по этой скверной дороге, голодный, грязный и взрослый, как ты говоришь. А мне хочется в чистую постель, и чтобы мама сидела около лампы,

и отец. И чтобы они разбудили меня завтра утром к столу. Но ничего этого не будет. Будет только грязная дорога и пустое брюхо. Где-то вот здесь в бурых копиях моего отца сбросили в шурф. Он у меня был ветеринарным врачом. А его в шурф, понимаешь, вниз головой со связанными руками и ногами за то, что красноармейскую форму надел и воевать пошел. За хорошую жизнь. А мою маму на барже «Азия» анархисты убили. Она была такая слабая и боязливая, что плакала, когда отец делал больным лошадям уколы. А то, что я в двадцать три года — совсем больной, чахоточный человек, ты знаешь? Не знаешь. Ты болеешь только своими болячками, а мои болячки тебе пустяки? А болячки Усольцева, Гудкова, всех, кто сейчас идет в шахтерский барак? Ах, ты не Иисус Христос, чтобы одним хлебом накормить тыщу! А для себя ведь ты ждешь тайно этого Иисуса? Ведь ждешь?

Каленов испугался Крохалева, такое было сейчас у него злое лицо.

— Слушай, Петро, чего ты так ругаешь меня... — сказал он примирительно. — Ведь я ничего, иду и молчу.

— Молчишь? А какого хрена ты молчишь? Тебя разбудить надо! — крикнул Крохалев.

Нет, Крохалев определенно свихнулся. Каленов никогда не видел его таким. Он, подчеркнуто серьезный, немногословный, вдруг пустился в эти непонятные разговоры.

Каленов остановился и тоже громко крикнул:

— А вот ты орешь! Чего ты орешь, никак в толк не возьму?!

— Во! Разбудил! Этого я и хотел! — и рассмеялся. — А то иду и думаю: что ты за человек сейчас? О чем так сердито думаешь? А вдруг все в колонне такие надутые? Это, если хочешь, была репетиция. Понимаешь? Вот придем мы сейчас в барак, а кое-кто из надутых бузить начнет!

— Как бузить?

— Бараки дырявые. Там же каторжники жили, и теплой постели никто не приготовил, и жрать вы до утра не будете. А у нас, кроме хороших ребят, кроме комсомольцев, шоблы разной до черта. Собирали-то отряд с миру по нитке.

— Ну и что?

— Как что? Неужели не поймешь? В отряде сотни людей. Ты представляешь, если вдруг буза? Надо же нам знать, кто за кого?

— И чтобы узнать, ты из всей армии меня для поведенья своих выбрал? — обозлился Каленов.

— Не то... Я же говорю, репетиция. Мысли в кучу собирал.

— Пока ты тут репетиции проводишь, там, может, уже спектакль идет.

— Бежим!

Но «буза» началась ночью.

Расселив отряд в длинном бревенчатом бараке с трехъярусными деревянными нарами, покрытыми соломой. Усольцев собрал свой актив на совещание. Каленова и Гудкова тоже пригласили.

В конце барака было какое-то подобие кухни, отгороженной от общего помещения почерневшими от копоти жердями, загромажденными битым кирпичом, жестяной ржавой посудой. Там и расселись все — кто на дырявом ведре, кто на стопке кирпичей.

Усольцев приклеивал к подоконнику зажженную свечу, и Каленов устало подумал, что он действительно ничего не знает об этом человеке, сыгравшем в его судьбе немалую роль. «Надо уметь смотреть...» А Усольцев ничем не примечательный. Смотри не смотри... Больше-лобое лицо с синими разводами под глазами то ли от усталости, то ли от плохого света. Нос обыкновенный, картошечкой, а от крыльев носа к подбородку — крупные морщины. Они делают лицо утомленным и скорбным. И у Никиты Гудкова такое же утомленное лицо, и у Крохалева, и у всех парней, которые сейчас сидят и ждут, что скажет Усольцев.

— Значит, так, товарищи, — совсем тихо, по-домашнему начал Усольцев. — На место мы прибыли. Теперь давайте подумаем, как будем жить. Жилья для нас не приготовили. Завтра разберемся, что к чему, а к утру нужно сложить печь. Харчи есть, а варить негде. Люди должны быть накормлены горячим завтраком. Предлагаю всем присутствующим взяться за оборудование кухни. Завтра решим, кто пойдет на подземные работы, кто на эстакаду, кто будет заниматься хозяйственными делами. На местных шахтеров особо рассчитывать не приходится. Их — раз-два, и обчелся. Кто с войны не вернулся,

кто сбежал... Итак, за дело. Отдыхать по очереди. Всё.

Каленов смотрел на Усольцева с невольным уважением. Об организованной дисциплине он имел еще крайне смутное представление. Некоторое подобие ее, какое-то начало, было в артели грузчиков, но там авторитет старшего — Никиты Гудкова — держался на его физическом превосходстве, на умении вовремя прикрикнуть, а то и кулак показать, хотя он в общем-то ничем и не выделял себя. Здесь же все было по-другому. Усольцев — человек не крупный, среди молодых здоровяков он, может быть, самый неприметный, и голос у него тихий по-семейному, а сколько в этом голосе власти и силы!

Стараясь не шуметь, приступили к работе. Усольцев и Гудков выкладывали печь, Каленов и еще два парня очищали кирпичи от старой глины. Люди были утомлены, но дело пошло споро, и к утру печь была бы готова, если бы в бараке внезапный, как пожар, не начался отчаянный переполох. Кто-то вдруг заорал благим матом, начал дико материться. Каленову этот голос снова показался знакомым, потом его поддержал второй, третий, и в неосвещенном бараке, набитом невыспавшимися, злыми людьми, повис панический вой.

В дверном проеме, будто черт из ада, возник перепуганный востроносый мужичонка. Каленов его еще в поезде приметил. Этот егозливый человечешка всегда был показно говорливым и без меры охочим до похабных анекдотов. Мужичонка нервно всплеснул руками и по-поросячьи завизжал:

— Крысы!

В бараке творилось невообразимое. Копошились, бегали, стучали по нарам десятки перепуганных людей. Казалось, не было силы, способной уговорить, успокоить их, потому что даже в этом адском шуме можно было различить писк великого множества мерзких созданий.

Гудков перекрыл панический шум своим могучим басом:

— А ну, прекратить ор! Мышей испугались! — И не очень щепетильный в выборе слов, добавил такое, что шум в бараке на какое-то мгновение стих. — Солому на середину барака! И поджигать! Только осторожно, не спалите хоромину!

— Они в соломе и есть. Одного дурака прямо за... цапнули, — крикнул кто-то изумленной и перепуганной публике.

Барак грохнул хохотом, а Гудков пошел на голос человека, изрыгающего такие пакостные слова, что даже выдавший виды артельный был поражен.

— Постой, постой! Этого краснобая мне уже доводилось слышать!

Он позвал Каленова:

— Дмитрий Степанович! Беги скорее сюда! Наш знакомый объявился!

Уж кого-кого, а этого человека не ожидал встретить здесь Каленов. Перед ним стоял Скоба. В телогрейке, треухе, с обвисшими длинными усами, с глубоко посаженными острыми, вместе с тем неподвижными глазами, Скоба был похож на какого-то мелкого, неопрятного зверя, готового вот-вот укусить и броситься прочь.

Растерявшись от неожиданности, Каленов не нашелся что сказать, а сказать что-то нужно было, потому что люди, толпившиеся рядом, насторожились, почувствовав, что эти двое будут сводить сейчас старые счеты.

Каленов с яростью сжал кулаки. Захотелось Митьке взять Скобу за тонкую шею, сдавить ее сильно до последнего хрипа. Ведь из-за него начались все злоключения. Если бы не Скоба, был бы он давным-давно на своем хуторе, с матерью, Настей, с дедушкой, не было бы за плечами больницы и шахтерского грязного барака тоже бы не было! Никита Гудков придерживал Митьку.

— Не надо, Дмитрий Степанович. Усольцев не похвалит. Где-нибудь он сам подохнет.

А ведь надо было бы! Надо! Зло обязательно воскреснет, если его вовремя не уничтожили.

— Ты, Скоба, пададь! — с расстановкой сказал Гудков. — А ведь крысы на пададь падкие. Никого не укусили, только тебя! — Гудков сдернул шапку на глаза Скобе и увел Каленова.

Говорят, нет ничего страшнее, когда мимо человеческого жилья пронесется кочующая армада крыс — хитрых и жестоких животных, порожденных голодом, войной и разрухой. Но здесь все обошлось благополучно, хотя двести здоровых мужчин до утра не сомкнули глаз.

Утром при перекличке Усольцев недосчитался в отряде тридцати человек. Их увел Кошкин-Скоба.

На следующий день вместе с бригадой проходчиков, которой взялся руководить Усольцев, Каленов первый раз спустился в шахту. Он только здесь, когда Усольцев взял его в пару, узнал, что Владимир Семенович опытный горняк, до революции жил на Бурых коях в бараке, где разместился его рабочий отряд, и свою бригаду навалоотбойщиков повел в ту штольню, где «отмахал кайлой» четыре года.

Шахта поразила Каленова немой пустотой, окружившей его вдруг, навалившейся на него со всех сторон холодом и сыростью. И когда он увидел, как работают проходчики кайлой и лопатой, не поверил, что вот так, вручную, откалывая от угольной стенки по кусочку, можно пройти под землей целые километры, пробить нескончаемо длинные и широкие штреки, забои, шурфы. Сколько же людей должно было кайлить этот уголь и сколько времени!

Он сказал об этом Усольцеву:

— Много людей здесь поработало и много времени, — ответил тот. — Видел за поселком кладбище? Большое... Да и в самой штольне немало похоронено. Техники безопасности никакой, а над нами горы породы. Чуть зазевался шахтер — прощай! Ты думаешь, почему поселок такой бедный и неухоженный? Там все больше вдовы. А если семья с мужчиной, то живут одним днем. Каждый хочет скорее убраться восвояси с этого проклятого места. Вот поэтому и мы здесь... Уголь нужен, а люди работать в таких могильниках не хотят. Надо строить новые шахты.

В штольне действительно могильно тихо и сыро. Но стоит прислушаться, и услышишь, как грунтовая вода звонко каплет с кровли, где-то глухо гремят вагонетки, в соседнем забое шуршит лопатой шахтер. Стойки потрескивают сухо от перенапряжения. Каленов сперва шарахнулся от потрескивающих стоек, но Усольцев его успокоил.

— Ты, Дмитрий, не бойся, когда стойки скрипят, а вот когда замолчат — жди беды. Может скумполить.

— Как это скумполить? — не понял Каленов.

— Порвет породой затяжки — и по кумполу. Несколько тонн.

Тяжелую часть работы Усольцев взял на себя, он «рубал уголек», а Каленов грузил вагонетки, доставлял от

шурфа крепеж, помогал Усольцеву крепить забой. И легкая часть работы была не из легких. После каждой смены он приходил в барак разбитый и о новой смене думал с тоской.

— Хороший шахтер из тебя получится!— похваливал его Усольцев, но Каленов устало отмалчивался.

Он-то не думал посвящать себя адскому шахтерскому труду. Сердце истосковалось по дому, и если он работал исполнительно, с ожесточением, то только потому, что работой хотел заглушить тоску. Молчаливый по складу характера, он не открывался ни перед кем. Да и перед кем это сделаешь? Усольцева, несмотря на его добродушие и хорошее отношение к нему, он стеснялся. Гудкова и Крохалева видел теперь не часто. Они работали в ла-ве в другую смену.

Но однажды он встретил Гудкова, когда тот возвращался с работы. Огромный, в драной спецовке, с совершенно черным от угольной пыли лицом, Гудков походил на большого добродушного медведя. Он обнял Каленова за плечи, рассмеялся:

— Ой, какой ты невеселый, Дмитрий Степанович! Почему так? Усольцев тобой не нахвалится, а ты прес-ный, как каша!

Над поселком и штольней низко стлался белесо-рыжий дым, от Гудкова пахло шахтной сыростью и едко-сладковатым дымом отпалки. Все вокруг: и деревянная горбатая эстакада, мимо которой они проходили, и грязные вагонетки на ней, груженные породой, похожей на дешевое хозяйственное мыло, кучи угольного штыба, наваленные там и тут,—все никак не располагало к веселью, а Гудков смеялся. Каленов посмотрел на него осуждающе.

— Понятно,— Гудков перестал улыбаться.— Я тоже скучаю. Дочка родилась, а я ее не видел еще как следует.

— Ведь дома у меня и не знают, что я здесь.

— А почему не написал?

— Написал, но мои письма не доходят.

— Ты Алексею Васильевичу напиши. Он разберется.

— Мое письмо и к нему не дойдет...

— Тогда давай я сам напишу. А ты потерпи. Между прочим, ты не городской, мог бы собраться и уйти, как Скоба. Не уйдешь ведь.

— Нет, не уйду.

— Тогда жди. Говорят, нам замена будет.

Скоро пришло письмо от Алексея Кузькина. «Черти вы рогатые,— писал он,— вот вы где запропастились! А Каленыча здесь совсем потеряли. Пусть скорее возвращается. Домишко мы его с Лукой Павловичем чуть-чуть подправили, кое-какой еды добыли. Ребята у Каленыча растут. Все здоровы, кроме матери. Она болеет, ждет не дождется своего блудного сына. Сестру Луки Павловича на днях похоронили. Настя тоже ждет Каленыча, и я очень жду. А письмо твое, Никита, меня еле нашло. Избрали здесь председателем артели и дали новую фамилию, а старую забыли начисто. Зовут меня теперь Ясный день. Жарко тут становится!»

Прочитав письмо, Каленов совсем расстроился.

— Домой мне надо. Боюсь, мать не увижу.

— Надо, сам понимаю. Поговорим с Усольцевым? Вот завтра утром, когда подниметесь из штольни на-гора, и поговорим. Только без меня разговора не затевай. Это с толком надо. Усольцеву сейчас уголь — самое главное.

Но разговора такого не состоялось. Ночью Владимир Семенович погиб в своем забое...

Вечером вместе с Каленовым они поужинали, заправили обушки у самодельного горна прямо в бараке и, натянув непросыхающие куртки и литые тяжелые галоши, пошли к штольне. Гудков хоть и наказывал помалкивать, не начинать без него разговора, но Каленов не сдержался.

— Скажите, Владимир Семенович,— начал он робко,— долго мы еще будем здесь?

— Домой хочешь? Мы уже говорили с Крохалевым. Отпустить тебя надо. Можешь завтра и расчет получить. А если еще недельку? Замена скоро к нам придет, и вместе двинем. В комсомол тебя примем в городе. Как ты на это смотришь?

— Я же малограмотный...

— Будешь учиться. У тебя все еще впереди. Сознательные ребята и в вашей станице нужны. Признаюсь, мне здесь тоже тяжело. Хвораю. Легкие у меня ни к черту. Простреленные на войне. Дотяну ли? А дома жена сильно болеет. Но ведь надо! Если все, как Кошкин, побежим, кто же тогда дело делать будет?

Почувствовал Каленов, что свою линию гнет Усольцев, решил сопротивляться. А Усольцев попросил:

— Еще недельку, Дима. Договорились?

«Дернуло меня за язык! Гудков говорил — не лезь! Так нет же...» — ругал себя Каленов, но возражать не стал. В тихом голосе Усольцева было столько участия, что возражать ему было стыдно.

В забое проработали они недолго. Успели только погрузить в вагонетки уголь, взрыхленный отпалкой, освободились от породы и стали крепить толстой огнивой освобожденный участок.

Каленов не знает, как произошел обвал, это потом ему вспомнилось, что на какое-то мгновение весь забой, вся шахта жутко замолчала. В неподвижном воздухе качнулись язычки пламени в лампах-шахтерках, а потом с грохотом, со скрежетом пахнуло сжатым воздухом, ударило в лицо, в грудь и, словно былинку, отбросило в конец забоя.

Очнулся он на поверхности. Кто-то лил обжигающе-холодную воду на лицо и грудь. Открыв глаза, увидел над собой совсем близко людей и ясный рой голубых звезд, и ему почему-то показалось, что это звезды дуют на него обжигающим холодом. Но до сознания еще не дошел весь ужас случившегося в шахте.

— Парнишке повезло. Не часто так бывает. В балаган угодил из стоек. А напарника насовсем...

Каленова куда-то понесли, а ему казалось, что раскачивают его на огромных качелях так высоко, что от высоты покалывает сердце и больно позванивает в ушах. Потом он опять впал в глубокое забытие, а когда очнулся, открыл глаза, увидел перед собой немолодого человека в белом халате, почему-то очень похожего на Никиту Гудкова. Он говорил:

— Поплачь, поплачь, мальчик. Будет легче...

Или это Гудков пришел к нему в больницу?

Похоронили Усольцева здесь же, на Бурых копиях, очень просто и сурово. Даже бабьего крика не было. Кто заплачет по чужому, незнакомому человеку, который из общей массы и выделил себя лишь тем, что безвременно погиб в шахте?

Даже не весь его отряд присутствовал на похоронах. Городу нужен уголь, и здесь ни на час нельзя было прерывать добычу топлива, остановить шахту даже из-

за похорон человека, который погиб ради того, чтобы там, в городе, было чуть-чуть потеплее.

Кладбище, запорошенное снегом, большое, щедро усеянное крестами, раскинулось выше поселка на ровной широкой поляне, обрамленной со всех сторон орешником, и если бы не печальные кресты, усеявшие поляну, можно было сказать: место это намного симпатичнее того, что люди выбрали себе для жилищ. Здесь росли деревья, существовал какой-то суровый порядок.

Еще в поселке, около барака, когда люди подняли гроб с Усольцевым и с торжественной медлительностью понесли его по дороге, Каленов с удовлетворением отметил, что гроб хоть и не крашен, но сделан добротно и с любовью. Но постепенно, по мере приближения к погосту, мысли его приняли совсем другой ход. «Почему так бывает? Домовину вон какую сообразили человеку, а шахты, надежной не построили и хороших изб для себя тоже...»

Он шел сразу за гробом, а рядом были Петр Крохалев и Никита Гудков. Они слегка поддерживали Каленова, потому что у него до сих пор кружилась голова, поламывало затылок и подташнивало. Затылком он ударился об угольный пласт, когда бросила его навзничь тугая воздушная волна, а тошнота и слабость были, вероятно, оттого, что пока горноспасатели откапывали обвалившийся забой, воздух кончился и какие-то считанные минуты решили вопрос его жизни и смерти.

Он никогда не видел смерть. Как и все, наверно, молодые люди, по-мальчишески наивно не признавал ее существования. Здесь же несколько дней подряд разговоры о смерти, приготовления к похоронам, сами похороны создавали какой-то тяжелый и таинственно-мрачный настрой, когда смерть постоянно чувствуешь рядом и постоянно думаешь о ней.

Всего лишь три дня назад он работал, разговаривал, ел с Усольцевым и, хотя не очень хорошо знал этого тихого и скромного человека, не привязался к нему, потому что не мог сразу привязаться в силу своей застенчивости, из-за того, что Усольцев много старше его и незаметнее других людей. Но ведь все равно этот человек был!

И вот сейчас его опустят в яму, зароят и вместо него поставят на земле крестик, напоминающий чем-то чело-

века, если тот раскинет руки. И уже словно не было на свете никогда того, кто думал, работал, разговаривал, любил, ходил по земле.

Каленов почувствовал новый прилив тошноты и отошел на обочину узкой дороги. С ним остался Никита Гудков.

— Плохо?— участливо спросил он.

— Ничего... Ты иди с ними. Я догоню.

— Нет, уж вместе. Здорово, однако, тебя. Зеленый весь.

— Не могу понять. Жил человек и вдруг — в яму!

— Этого никто не поймет. И ты не думай. Зря. Ничего не придумаешь. Ему давно не повезло. Он политический ссыльный, срок тут отбывал. Говорил он тебе?

— Крохалев говорил.

— Дважды простреленный, детей всех по тифозным баракам порастерял, жена — сердечница, выдержит ли? Я не умею объяснить, но даже и не в его смерти дело. Такая нелепица с кем угодно могла случиться.

— В чем же дело? Хороним-то Усольцева!

— Причины! Колодец сверху роют и добираются до главного, до воды. Я тоже все сверху рою, а до воды, до главного, не умею. Крохалев умеет, а я нет. Усольцев умел...

Они подошли к могиле, когда гроб поставили на холмик рыжей глины. Все сняли шапки. «Эх, шахтерская судьба...— тихо сказал за спиной Каленова какой-то старый шахтер.— Последний раз люди лицо шахтера видят, когда он спускается в шахту, выходит, там, в шахте, и начинается наша могила...»

Похоронив Усольцева, люди уныло разбрелись среди крестиков. Кто из любопытства, потому что многие ведут себя на кладбище, так будто хотят разгадать что-то, а кто из случившейся оказии пошел навестить могилу родственника.

Каленов стоял посреди дороги один. Он не любил кладбище и сейчас, как в детстве, боялся его. Когда жил на хуторе, часто бегал на Ягодную горку за брусникой и грибами, но появились там первые могильные холмы — и перестал туда ходить. А сегодня прямо на его глазах случилось это страшное и непоправимое... Вон неподалеку совсем еще свежий холмик с деревянной тумбочкой...

Мимо медленно прошли Петр Крохалев и старый шахтер — высокий, в потрепанной стеганке, в войлочной

шапке котелком, в литых шахтерских калошах, привязанных к ногам бечевкой. Шахтер держал Крохалева под руку и, заглядывая ему в лицо, говорил:

— ...Весь поселок согнали смотреть. Мы потом их захоронили и памятник на шахтерские денежки поставили, какой сумели. Ты все правильно говоришь про нашу жизнь. Налаживать ее тут надо. Ты говоришь «мы». А кто это «мы»? Коренных шахтеров здесь совсем мало осталось, может быть, ты?

— Может быть, и я... Я же одинокий. Куда хочу — туда и полечу. Сейчас пока еще на одну смену останусь, а потом буду проситься, чтобы перевели на Бурые копи насовсем...

— Подумай, сынок. На кладбище пустых слов не говорят.

— Знаю. У меня тут отец. Останусь и я.

— Ну, значит, дело... Пойдем к отцу-то...

«Сумасшедший! Неужели он захочет остаться на шахте! Нет! Это погорячился Крохалев. Погорячился!»

Дмитрий шагнул на дорогу и с недоумением, даже с некоторым испугом стал смотреть, как уходят вверх Крохалев и старый шахтер. Они чем-то походили друг на друга в эту минуту — оба высокие, в некрасивых грязных одеждах, в мокрой разбитой обуви, прямые и непостижимые.

...Тумбочек со звездами совсем мало было на кладбище, все больше деревянные и железные кресты, но в отдалении как-то обособленно высился памятник с тонким шпилем, устремленным ввысь, огороженный красивой оградой из литого железа. К нему пошли Крохалев со стариком и еще несколько шахтеров. Каленов, смятенно раздумывая о случившемся, так и стоял на дороге, но его окликнул Гудков. Когда Дмитрий приблизился к памятнику, товарищи посмотрели на него с любопытством, испытующе.

— Читай!

К железному обелиску с облупившейся краской была прикреплена дубовая доска, а на ней мелко выжжено:

«Здесь погребены двенадцать красных бойцов и командиров, казненных белогвардейцами...»

Каленов растерянно посмотрел на Гудкова и Крохалева. Первой стояла фамилия Крохалева Семена Сергеевича.

— Это отец Петра. Читай дальше!— приказал Гудков.

Предчувствуя неладное, Каленов стал медленно читать список казненных. Последней в этом ряду была фамилия его отца...

Станица Березовая горка широко и привольно раскинулась на склонах двух невысоких сопок, хорошо спрятавших ее от ветров. Улица здесь одна — длинная, широкая, хорошо натопанная многими поколениями казачьего люда. Начало берет она прямо от реки и, пробежав между казацкими домами, теряется в поле, от него начинается густая, труднопроходимая и богатая Уссурийская тайга. Отсюда жители станицы и лес взяли на свои высокие рубленые дома. Они, в основном, из долговечной лиственницы и могучего кедра, с глубокими подвалами и просторными подворьями, солидные, обстоятельные, как и их хозяева — уссурийские казаки. Много домов из дерева легкого — осины и березы, которой тьма-тьмущая вокруг. Дома эти пониже, и дым из них пожиже, и поросяток с курицей во дворе места не поделят, но станица считается богатой, потому что состоятельных казаков здесь больше, они и задают тон всему.

Давным-давно в Сибирь и на Дальний Восток цари ссылали опальных крестьян, но времена менялись, и уже праправнуки изгоев стали служить царю за казенное кормление. Как и полагается при таких обстоятельствах, у тех, кто побогаче и половчее, и казенный кошт был посытнее, что еще больше укрепляло их силу и власть. А те, что победнее, как и их далекие предки, корчевали тайгу для богатых, возводили красивые дома, наживали чахотку на смолокурнях, которые тоже принадлежали богатым казакам.

Приход Советской власти многие казаки встретили откровенно враждебно. «Зачем нам эта новая власть, если при старой хорошо жилось? От добра добра не ищут!» Другие предусмотрительно помалкивали, выжидая, откуда подует ветер потеплее. С Советской властью, перебудоражившей от края до края всю Россию, шутки плохи. С этой силой надо считаться.

Третьи, вроде Осьмухина, заняли свою, особую позицию. Заигрывали с Советской властью, помогали ей при

случае и на всякий случай, не забывая, однако, присматриваться к тем, к кому у них тянулось сердце.

Дальновидный и активный Осьмухин в этом деле пошел дальше. В гражданскую, почувствовав явный перевес красных, он ушел воевать за них, а вернувшись на хутор, выждав некоторое время, раскатал дом, без лишнего шума развез по деревням и распродал имущество, оставленное в наследство отцом, увеличенное приданым покойной Мотри, и стал бобылем, без кола, без двора, без теплого угла. Появившись в станице и устроившись на постой к Трифону Рублеву, Осьмухин стал умело подыскивая наиболее простосердечных, разжигать сострадание к себе. Но умные мужики из богатых домов, зорко следившие за происходящим в станице и окрест ее, знали, что за птица на самом деле Иван Осьмухин.

На одной из станичных сходов к удовлетворению богатых и небогатых, к собственному радостному удивлению, Осьмухин был избран секретарем сельсовета. Мужик он молодой, грамотный, сражался за Советскую власть, и кому, как не ему, помогать вершить дела этой власти в станице! Не высокая должность — секретарь-делопроизводитель, однако если смотреть вперед, то и не маленькая. С умом многого можно добиться...

А через несколько дней после этого, выждав, когда в сельсовете не было никого, кроме Осьмухина, туда заглянул старый казак Филипп Куцев.

Обнажив лысую желтую голову, он перекрестился на пустой красный угол и, подсев к столу, начал без дальних подходов:

— Вы бы зашли, Иван Тарасович, ко мне как-нибудь.

Осьмухин насторожился. Богатого Куцева он близко не знал, в какие-либо взаимоотношения предусмотрительно не вступал с ним. К чему бы это Куцеву приглашать его на чай?

— А зачем я к вам пойду, Филипп Варфоломеевич? Мы разные с вами ягоды...

— Это верно, разные,— спокойно согласился Куцев.— Ну, а на чаек все же зайти к старику. Поговорить надо.

— О чем?

Осьмухин, хотя и не подавал виду, испугался решительности в голосе Куцева, насмешливой многозначительности его умных глаз.

— Казаки хотят поинтересоваться насчет матери твоей Аграфены и жены Мотри. Как это они сумели чуть ли не в одночасье в могилу скочевряться?

Куцев, наверно, услышал, как гулко и часто заколотилось сердце Осьмухина, улыбнулся в бороду.

— А что тут интересоваться?— чуть ли не крикнул Осьмухин.— Понятное дело. Умерли — и нету. Одна старая была, другая хвора.

— Дело-то понятное, бывает... и та и другая на ладаи дышали. Но, может быть, помнишь, в шестом или седьмом году у Микиты Парфенова четверо инородных работников сразу померли? Бывает...

«Да он с ума сошел, этот старик!— совсем струсил Осьмухин.— Намек-то прямехонький!»

Даже ребятишки в станице знают, как богатый станичник Никита Парфенов отравил на сенокосе всех своих помощников — инородцев. Не захотел расплачиваться с ними за сенокос, напоил вволю, до риз, а потом бухнул в ведро с самогоном крепкий настой ядовитого лугового веха.

— Ну, это ты брось, Филипп Варфоломеевич! Намеки твои ни к чему. За такой навет и под суд отдать можно!

— Можно,— смирно согласился Куцев.— Но ведь бабы-то твои небось уже в раю давно. А свидетели на земле.

— Какие свидетели?

— А казаки. Общество. Скажут все разом — и доказывай! Есть и такие, кто твоего отца хорошо знает...

— Не поверят вам.

— Поверят. Обществу поверят.

Умный Куцев грубо шантажировал Осьмухина, но, увидев, каким тоскливым жаром зажглись черные глаза секретаря сельсовета, как быстро и неловко длинные его пальцы стали перебирать бумажки на столе, смекнул, что дело у него верное.

— Вот и зайди ко мне сегодня, когда стемнеет,— уже твердо сказал он.— А вех тут ни при чем. Вон у старого Луки Каленова две лошади от веха пали. Никогда еще такого не было. Ну и что? Бывают всякие случаи...

— При чем же тут я-то?

— Я и говорю, что ни при чем. А суд не больно станет

разбираться. Одну болячку найдет — все тело расковыряет.

Последними словами окончательно подмял под себя, добил старый Куцев Ивана Осьмухина. Тот и сам готов был помочь богатым станичникам при случае, но чтобы так внезапно и крепко эти станичники взяли его за жабры, он не ожидал. И если раньше секретарь сельсовета только грязной душой своей был «и вашим и нашим», то сейчас, запуганный, зажатый в клещи богачами, стал их опорой, исполнителем их воли.

Когда появился в станице Алексей Кузькин, Осьмухин растерялся, под ним будто лед затрещал. Хотя лично двоюродные братья не были знакомы, потому что Кузькины жили в соседней волости, Алексей мог бы признать его. Мать Алексея, Авдотья Кузькина, дотошная бабенка, знала что-то нехорошее про старого Тараса Осьмухина. Тарас побаивался своей сестры, заигрывал, лебезил, слал письма и деньги, а сам проклинал ее на чем свет стоит. Перед революцией, когда умирал Тарас, он сказал единственному сыну:

— Помру — уходи отсюда. Заест тебя тетка Авдотья. Заест вместе с наследством. В чем дело, не скажу. Моя вина — с собой ее и унесу. Но уходи сразу!

Иван уехал с матерью на мало кому известный Каленов яр, поставил дом и сейчас бы жил спокойненько, если бы не революция в России и если бы не появился вдруг этот растреклятый братец. В том, что это он, Осьмухин не сомневался. И фамилия та, и имя, и отчество. И по облицию такой же, каким его рисовала покойная матушка.

До поры до времени Осьмухин решил не раскрывать своего родства. Но как ни старался он держать себя солидно и невозмутимо, как ни в чем не бывало, все равно невольно егозил перед Кузькиным, притворно радовался ему при встречах. И первым, чтобы на всякий случай как-то потрафить Кузькину, выдвинул его кандидатуру в председатели артели, полагая, что только губы сладким помажет братцу, потому что никто такого калеку в председатели не изберет.

Но, к его разочарованию, Кузькина в председатели артели избрали единогласно. Бедняки голосовали за него, потому что он знает, почем фунт лиха, красный командир в недавнем прошлом, а богатые — предполагая, что

на своих палках хлипкий Кузькин далеко не ускачет. Где ему заниматься председательскими делами! Будет отлеживаться, раны зализывать.

Но как можно ошибиться в человеке!

Новый председатель артели оказался не только на редкость живучим, но и деятельным, неутомимым, напористым. Казачья вдова Мария Щелкунова, нестарая еще женщина, крупная, сильная и работающая, на постой у которой остановился Алексей, души в своем постояльце не чаяла. Она быстренько обстирала его, обшила, откормила молочком и сдобными шанежками, а поговаривали еще, что и обласкала, и побежал Кузькин по станице, от дома к дому, от школы к избе-читальне, от нее к новой конюшне, построенной вместо сгоревшей.

— А ну, ясный день! Подымайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный!

И народ шел за ним, заражаясь энтузиазмом, поверив в его бескорыстие и целеустремленность.

— Ну, ядрена мать! И председателя мы выбрали на свою голову!

Осьмухин и Куцев сидели в сельсовете у слабо потрескивающей керосиновой лампы. За окошком в вечерних сумерках лениво, скучно поскуливал январский ветер, тени шушукались в темных углах избы. И разговор Куцева с Осьмухиным был такой же, как ветер, как тени, — скучный, бестолковый и безысходный. Не разговор, а раздумья вслух о том, какую оплошность они допустили, какого маху дали, избрав Кузькина председателем. Не знали, не проверили, на что он способен, а избрали... Осьмухин о своем родстве с ним помалкивал, но отвечать собеседнику надо, и он сказал неопределенно:

— Закавыка с ним вышла... Думали, не выдержит, а может, и помрет этот «ясный день»...

Хотел сказать Куцев, что если думали, так и быть тому, и казака не надо учить, как это делается: в его святцах все способы записаны, службу казачью прошел, но тут, заскрипев надсадно, открылась промороженная дверь, в теплое помещение, будто погреться, вкатилось белое облако мороза, а когда улеглось, увидели Куцев и Осьмухин на пороге двоих. Один был большой, широкий, с бритым лицом, в коротковатой зеленой стеганке,

подпоясанной широким ремнем, другой — пониже, в шинели, в буденовке, с русой бородкой. Какое-то мгновение вошедшие стояли у порога, осматривались, а потом тот, что в шинели, решительно пошел к столу. Куцев, торопясь, поднял лампу, хотел взглянуть, что за люди так бесцеремонно ввалились в избу, и увидел, как испугался Осьмухин, поднялся, ступил назад раз-другой и неверным голосом проскрипел:

— Митя-я! Неужели ты?

Осьмухин еще у двери узнал Каленова и того, большого, тоже узнал. Когда был в городе, разговаривал с ним на толкучке, но зачем они вместе здесь и почему у Каленова такое решительное, прямо страшное лицо?

А Каленов тем временем сгреб Осьмухина за грудки, дернул к себе, нос к носу, и тихо, с расстановкой спросил:

— Вот теперь скажите, Иван Тарасович, где мой отец? Спиртоносит, говорите? За кордоном? Отвечайте!

Осьмухин нервно потащил из кармана револьвер, но сунул его обратно, струсил, не выстрелил даже после того, как Каленов, коротко размахнувшись, вложив в удар всю свою ярость, двинул по осьмухинской омерзительной роже.

Всполошился Куцев:

— Татары! Это же секретарь Советской власти!

Гудков стоял у него за спиной. Он как-то нежно, будто с удовольствием погладил Куцева по желтой лысине.

— Молчи, старикашечка, суд идет!

А когда тот снова закрутился, гаркнул:

— Молчи, тебе говорят, старая сука! — и ладонью, которой только что нежно гладил Куцева, шлепнул его по лысине так, что тот выпучил глаза и умолк.

На всякий случай, чтобы не выстрелил в спину, Каленов выдернул из кармана осьмухинского френча револьвер, сунул его в карман шинели и, кивнув Гудкову, пошел к двери.

* * *

— Ух, как я рад вам, ребята! — уже который раз повторяет Кузькин, тянется рюмкой к Дмитрию, к Никите, к Марии Щелкуновой, которая смотрит на всех влюбленными и чуть захмелевшими глазами. — Значит, по греш-

ной морде да святым кулаком? Ай да молодчина, Каленыч! Узнаю наших!

На улице вовсю разгулялась метель. Там тоскливо шумит ветер, ему подвывают собаки и где-то далеко, еле слышно пиликает гармошка. Сегодня в станице отмечают два события: первый день крещенских праздников и проводы новобранцев в Красную Армию. И в каждом доме с утра дым коромыслом, пол трещит от отчаянного пляса, льется рекой самогон, песни и бабьи слезы. И в домике Марии Щелкуновой, за щедро заставленным закусками столом, тоже уютно и радостно. Друзья уже переговорили обо всем, но не наговорились и по нескольку раз возвращаются к тому, о чем уже было сказано. Дмитрий порывается уйти на хутор, но все откладывает с минутки на минутку расставание с друзьями — так хорошо сейчас за столом с ними. И хозяйка упрашивает:

— Не ходите сегодня, заночуйте. На хутор в метель — не близкий свет, да и пьяных много кругом...

Мария-то больше помалкивает, простодушно рассматривает, изучает гостей. Она сразу поняла, что Каленов и Гудков любят Алексея, и теперь ей доставляло большое удовольствие угощать их. Она, несмотря на свой большой, чуть ли не гудковский рост и пышные формы, расторопно, даже суетливо подкладывает закуски на тарелки, подливает в рюмки водочку, и на белом, спокойном ее лице все время блуждает добрая улыбка.

— Эх, кузькина мать! Закормите вы нас тут совсем, Мария Ивановна,— шутливо гудит Никита, а довольная хозяйка еще больше старается.

— Кушайте, кушайте, добрые люди, вы с дороги, вы молодые...

Ей очень хочется понравиться друзьям Алексея, усилия ее по-крестьянски неумелы и простосердечны. Видит это Каленов, Гудков улыбается милой тетке, которая готова в доску расшибиться из-за Алексея. Оба они исподтишка присматриваются к хозяйке Кузькина, и каждый по еле уловимым деталям, по тому, как смотрит она на Алексея заботливо и нежно, как ласково предупредительна с ним, догадывается, что их отношения давно перешли те, которые бывают между квартирной хозяйкой и ее постояльцем.

«Ай да Кузькин! Жучок жучком, а какую маму к себе подгрёб, смотри-ка!» — с удовлетворением думает Ники-

та, потому что хозяйка нравится ему — добра, хлебо-сольна, не красавица, правда, но не старая, свежа телом, полна неистраченной бабьей силы. В отчаянном положении, в каком оказался Кузькин, такая женщина просто клад. Да и ей, наверное, стало жить веселее, если так заботливо она обхаживает его. И Каленов думает примерно так же. Уж он-то знает, какие тяжелые страдания доставляла Кузькину даже сама мысль о будущем. А тут сразу председательская должность, теплый дом и забота такой славной женщины! Кузькин будто снова на свет родился, посвежел, окреп, смуглое лицо его, уже без татарской растрепанной бородки, порозовело, стало совсем молодым и даже симпатичным. И в повадках Алексея, в его движениях, в том, как он говорил и что говорил, исчезла нервозность. И хотя был Алексей по-прежнему беспокойно-подвижным, угадывалась в нем и новая черта — солидность и сосредоточенная озабоченность. Он громко радовался друзьям, с удовольствием смеялся, пил, ел, а все равно они чувствовали какую-то напряженность. Скоро и это объяснилось.

Похлопав ласково Дмитрия по спине, Кузькин сказал: — Рад тебе, Каленыч. Наконец-то ты дома. Кончились твои «одиссеи». Только как ты сумел этого громилу, — он кивнул в сторону Гудкова, — с собой притащить?

Ответил Гудков:

— Мы же тебе говорили! Или не говорили? Ну и водочка у вас! Всю память вон! После кладбища Каленыч был сам не свой, все к Осьмухину рвался. Так домой не хотел, как в станицу. А старший должен в таких делах быть? Дмитрий Степанович человек тихий, но в тихом болоте, сам знаешь... А у меня отпуск на десять дней за шахту. И жена еще у матери, вот я и подался сюда резервом.

— А ведь по роже-то, ребята, Каленыч моего братца хлопнул, — сказал вдруг Алексей задумчиво. — Помнишь, Каленыч, я говорил в больнице? Он и есть.

За столом возникла напряженная тишина.

— Ну и дела... — выдохнул Гудков, а Каленов и хозяйка дома застыли с каменными лицами.

— Братец! Я как приехал сюда, сразу его узнал. У нас в семье осьмухинская фамилия, как притча. И он меня признал. Но ни он, ни я — ни гугу! Мы же не видели друг друга до этого. Он-то рассчитывает, что я не

знал его, хочет так. А я все думаю, почему он на это расчитывает, почему сын коннозаводчика в сельсовете сидит. Я помалкиваю, ясный день, присматриваюсь, на длинной узде его держу, а он от этого еще больше нервничает, думаю, вот-вот расколется. А как? Как расколется? Чует мое сердце, что за его спиной стодесятичники шуруют тихой сапой. А попробуй докажи, если никто сам не сорвется. В станице спокойно, если не считать незначительных, мелких пакостей.

— А ты не морочь с ним голову,— посоветовал Гудков.— Доложи по команде — и точка! Там разберутся, что к чему.

— Я же тебе толкую, доказательств у меня никаких. Из коннозаводчиков? Ну и что? Сын за отца не в ответе. А потом, мало ли к нам такого народу перешло, а он еще и воевал за Советскую власть. Кулак? Опять этого не скажешь. У смолокура Трифона Рублева живет. И еще. В случае чего, мне хочется вот, как Каленыч, самому ему по роже надавать.

— Смотри, Алексей Васильевич! Как бы тебе тут не нащелкали...

В замороженное окошко кто-то неуверенно постучал. За столом переглянулись. А Кузькин сказал хозяйке:

— Сходи, Машенька, выгляни, кого это к нам несет...

Мария выскочила в сенцы и вернулась с пьяным, запорошенным снегом Трифоном Рублевым. Шел Рублев жаловаться к председателю артели на своего постояльца. Мол, кровно обидел его Осьмухин. Рублев пригрозил ему, а тот с его бабой блудил втихомолку. И вообще Осьмухин — оборотень. Работает в сельсовете, а сам с богатыми казаками путается. Но не сказал ничего этого Трифон председателю. Увидев чужих парней, любопытно и, как показалось Трифону, подозрительно разглядывающих его, он растерялся, вся его раскаленная пьяной ревностью храбрость мигом остыла. «Чека!» — трусливо подумал Трифон и, едва поздоровавшись, подался назад.

— Да куда же ты, Трифон! — крикнула было Мария, но Рублева и след простыл.

За столом посмеялись, а когда домой стал собираться Каленов, Кузькин вспомнил вдруг о Трифоне и озадаченно спросил себя:

— А зачем Рублев ко мне приходил? Он же никогда не здоровствовался со мной...

— Да ведь пьяный совсем,— успокоила его Мария.— А пьяный куда только не пойдет...

Дмитрий наотрез отказался, чтобы Гудков проводил его. С Алексеем они старые друзья, пусть наговорятся,— подумал так, а немного погодя пожалел об этом. Он уже стал торопливо выбираться к заснеженной дороге, ведущей на хутор, как из-за плетня последнего казачьего двора вышли люди. Один, с гармошкой на груди, в середине, а двое по бокам у него. В метелице нельзя было разобрать их лиц, но сразу насторожился Каленов, понял, что неспроста вышли навстречу ему люди.

— Кто такой?— вызывающе задиристо крикнул с гармошкой.

— А это тот, городской,— услужливо подсказал тонкий голос.

— Кто такой? Другой раз спрашиваю? Или разговаривать брезгаешь?

Что-то знакомое показалось в пьяном голосе, но Дмитрий, предусмотрительно нащупывая ногой чистое и твердое место, чтобы было отбиваться удобно, отступил назад.

— Каленов я, с хутора.

— Как Каленов? Митька?

— Он самый...

— Вот те раз! Откуда ты?— и, не дожидаясь, что ответит Каленов, Репкин сказал друзьям:— Задний ход, братцы. Это Каленов, я его бить не стану.

— А тебе не все равно? Каленый — не каленый? Сказано, городской!— пьяно запротестовал один из приятелей и пошел на Дмитрия.

— Слушай, Авдей!— угрожающе заорал Репкин и поставил гармошку прямо в снег.— Не смей! Ты меня ради этого сивухой поил?

Каленов еще опомниться не успел, сообразить, за что собираются поколотить его эти незнакомые парни, как между ними и Репкиным загорелась жестокая пьяная драка.

— А ну, Каленов, подмогни!— крикнул Гутька. Дрался он отчаянно, с упоением, но был изрядно пьян, и противники явно одолевали его.

Каленов аккуратно положил в снег мешок с подарками для семьи, сбросил шинель и, внутренне замерев от незнакомого возбуждения, ринулся Репкину на подмогу.

Репкин-то первым стал на его защиту и сейчас расплачивался за это.

Хрустнула под чьими-то ногами гармошка, или это его скула хрустнула под мощным ударом Авдея? «Эх, елочки-метелочки! По-настоящему, не жалея бьет, надо и отбиваться по-ихнему!» И не думал никогда Каленов, что так легко может поддаться боевому азарту, так же, не жалеючи, будет отвечать на удары и совсем безбоязненно полезет в самую гущу драки.

Парни, почуяв свежую крепкую силу, отчаянно отбиваясь, стали было отходить, но вдруг Репкин охнул под ударом Куцева и повалился в снег.

— Свинчаткой, стерва, лупит...

Каленов остался один, и парни надели на него с такой злорадной яростью, что он невольно стал отступать. Споткнувшись о свой мешок, он упал, и сразу же его сильно ударили ногой в живот. Может быть, и убили бы его здесь озверевшие парни, если бы вдруг не вспомнил Каленов про осьмухинский револьвер. Под градом безжалостных ударов он откатился к шинели, с трудом нашарил револьвер и выстрелил, не вынимая его из кармана.

— У него наган!— заорал напарник Куцева.— Бежим!

Где-то уже далеко парни остановились, угрожая Каленову расправой, а он тяжело поднялся, вытер снегом кровь с лица и, успокаиваясь, стал вытряхивать снег из шинели. Репкин, сплевывая кровь, ругался на все лады и хвалился:

— Вот увидишь, я этих щенков всех передавлю!

— Что же ты сейчас-то?

— Пьяный я. Совсем пьяный был сначала. Они поили. Репкин смачно выругался, а Каленов сказал:

— Не лаялся бы...

— Скучно, Каленов. Сдохнуть охота. Здесь, в станице, дербанят друг друга: советские — кулацких, кулацкие — советских, противно. А я знаю, что один раз живем. Легко жить охота. Теперь вот гармошку эти гады... Совсем пропаду. Друзей у меня нету тут.

— А эти двое?

— Эти? Эти просто так, от скуки. Самогон вместе жрали да на вечеринках драки затевали. Я им нужен потому, что первый кулачный боец в станице. Теперь и этой дружбе крышка.

Когда Каленов неохотно и скупое поведал о себе, Репкин сказал:

— А все равно ты фартовый. Домой идешь, к Насте. А у меня и дома нету, и Насти нету, потому что обскакал ты! Но я не в обиде. Раньше петушились по-детски, а теперь понимаю — у тебя фарт! Досталась бы мне Настя, я бы сейчас шел домой, а не ты. Ну да ладно... Может, когда-нибудь подфартит. Шагай, Каленов. Будешь в станице, заходи в кузню.

— А как один назад-то?

— Не бойсь! Я же говорил, насчет подраться тут сильнее Репкина нету, потому и дружат со мной те щенки.

— Возьми эту штуковину,— Митька протянул Репкину револьвер,— и от греха подальше отдай ее Кузькину. Сегодня поохраняйся, а завтра отдай.

Гутька осторожно потрогал револьвер, ощупал его и озадаченно уставился на Каленова.

— Слушай, Митька! Это же осьмухинский наган-то! Без мушки. Я его еще с хутора знаю. Тю-тю-тю!— присвистнул он с сожалением.— А ведь я, кажется, кое-что соображать начал! Когда меня Авдей Куцев позвал к себе самогон жрать и подговаривать, чтобы городских поколотить, его отец в другой комнате с Иваном Тарасовичем сидел и говорил ему: «Дурак ты, что оружием вытащил! А теперь не теряй голову — действуй! Чего тут раздумывать. У тебя разнарядка. Почему только станичные ребята должны в Красной Армии служить? Вот ты повестку горелому-то и пришли!» Это, Каленов, про тебя!

* * *

— Бегом марш!

В морозном, осязаемо тугом воздухе голос командира Прохорова кажется стеклянным и бесцветным, будто не человек подает команды, а неприятно резкий голос медной трубы. Колючая поземка колет лицо, старательно зализывает следы, а красноармейцы-пограничники бегут и бегут по полю, оставляя в снегу новые глубокие следы, падают, ползут, зарываясь в снег, снова падают. И так без конца, потому что, кажется, не было начала и не будет конца огромному заснеженному полю. и не-

иссякаем требовательный и бесстрастный голос медной трубы.

— Боец Каленов! Ориентир три, по-пластунски двести метров, пшел!

Вгрызается в снег Каленов, извивается, глотая снег и собственный пот, но металлический голос снова настигает его:

— Красноармеец Мурзин! Почему зад, как парус, поднят? Убрать!

Замечание сделано рыжему ворчуну Мурзину, но здесь это не имеет значения. Каленов льнет к земле всем телом и, словно в воде, старательно гребет руками и ногами к ориентиру — прошлогодней копне сена. Подползти к копне надо побыстрее. Пока к рубежу подползет все отделение, он сможет полежать некоторое время, чтобы успокоить готовое выскочить из груди сердце.

— Отделение, окопаться!

Окапываться нужно лежа, не поднимая головы, вкладывая в удар крохотной пехотной лопатки всю силу рук и спины. «Осень была сухая, снег рано упал, — успокаивает себя Каленов, — значит, талая земля близко...»

Там и тут в реденькой цепи усталых пограничников летит по сторонам рыжая неподатливая земля. Каленов правофланговый. У него только один сосед слева, Василий Мурзин. Силенок у него мало, земля поддается плохо, и он сердито цедит сквозь зубы, так, чтобы не слышал командир:

— Глупо! Для чего это мы ее роем? Зачем бессмысленно уродоваться!

Каленов молчит. На опыте длинных-предлинных двух с половиной лет службы в армии он убедился, что в тяжелой, порой просто изнурительной солдатской работе есть какая-то целесообразность. Просто так и чирей не садится. Но сейчас брюзжание Мурзина не вызывает у него протеста. И он, Каленов, тоже готов от усталости упасть и уснуть в снегу.

«Но Мурзин ноет и в праздники и в будни, — думает Каленов. — Слабый, до армии где-то продавцом в магазине работал». Прохоров часто говорит Мурзину: «Это тебе, Мурзин, не кружева для дамских панталон отмеривать...» Во время учений и в марше-броске, когда оценка определяется по действиям всего отделения, от Мурзина хоть не отходи. Задыхается, падает, готовый

умереть от перенапряжения, и тогда надо нести его оружие и снаряжение. Один раз по ночной тревоге Мурзин прибежал в окоп без шаровар. Спросонья собрался в полное боевое, а штаны надеть забыл. Ребята до сих пор смеются над Каленовым, почему он Мурзину штаны запасные не захватил. Разгильдяй Мурзин, а в казарме, на отдыхе, хороший человек. Разговорчивый, веселый, на гитаре играет, не то что отделенный Прохоров... Каленов молчать и сам умеет...

— Беглым, по три патрона, справа... огонь!

Каленов не слышит команды, скорее чувствует, что это команда прозвучала. За время службы он привык к последовательности команд, просто по какому-то наитию передергивает затвор. Еще поземка не унесла с собой звук первого выстрела, как он послал в мишень вторую пулю. И второй выстрел получился хорошим, потому что после него мушка винтовки не шелохнулась, так и осталась под основанием несуразно условной фигуры. Привычное дело... Мальчишкой влет уточек постреливал. Вон Мурзин дергается, психует, елозит локтями по брустверу окопчика и шлет свои пули в чистое небо. Из ячейки было слышно, как, ударившись о холмик рыжей земли, смешно, будто котенок вякнул, взвизгнула мурзинская пуля.

— Митя, выручи, пошли хоть одну в моего дядьку!

Голос у Мурзина жалобный и беспомощный, и хотя из-за азарта, охватившего его, жалко тратить патрон на мурзинскую мишень, Каленов подводит под нее мушку своей винтовки. Зачеты у него уже есть, и, может, будет лучше, если его фамилию не назовут среди лучших. Каленов в душе согласен с Мурзиным, который говорит, что первая солдатская заповедь — это от других не отставать и вперед не забегать. Он не любит, когда его фамилию называют хоть с одного, хоть с другого края. Ему почему-то неловко в том и в другом случае.

— Спасибо, Митя! — игриво подталкивает плечом Каленова Мурзин, когда, выстроившись по двое, они возвращаются на заставу. — Ты убил моего заклятого врага.

— Ладно, чего уж там...

Мурзин повеселел. Кончились изнурительные полевые занятия, сейчас их сытно накормят и тех, кто пойдет в ночной наряд, уложат спать. Мурзин вместе с Калено-

вым назначен в наряд, но это еще не скоро будет, а подобные Мурзину легкомысленные люди живут только настоящей минутой. Мурзину хочется шутить.

— Я бы его и сам срезал, Митя, но руки озябли.

— Ладно, чего уж там...

— А потом жалко... Уж больно моя мишень на человека похожа.

— Понятно.

— Слушай, Митя. А почему на одну мишень дают три патрона? Вот ты своему аж две пули в сердце всадил. Зачем?

— Отстань.

Каленов понял, что у Мурзина зачесался язык, а ему хотелось подумать, в длинной дороге всегда хорошо думается.

— Отстань, говорю. На тебя больно мишень-то похожа. Вот и всадил пару.

Острая, будто нож, поземка дует в пропотевшую спину, и строй прибавляет шаг. У Каленова малейший пустяк вызывает образ родного хутора и родных людей. Так, наверно, у каждого бывает, кто истосковался по дому. А он, особенно в последнее время, когда на заставе все чаще стали поговаривать о демобилизации, просто заболел от тоскливых мыслей и нетерпения. Тяжелые думы преследовали его везде — на учениях, в наряде и даже во сне. Сейчас холодный ветер, студивший разгоряченную спину, до мельчайших подробностей напомнил ему выюжный вечер, когда он шел из станицы на хутор.

...Распаленный в драке, он брел по глубокому снегу, долго не застегивая шинель. А может быть, и не драка причиной тому, что не замечал он дороги и что за разорванный ворот рубашки сыплется колючий снег. Лучше бы убили его эти пьяные парни, и не встречаться бы ему с Августом Репкиным... Выходит, зря он так спешил домой? Ведь жить-то здесь не придется! Деньжонки кое-какие подкоплены, рядом Алексей Васильевич Кузькин. Осьмухин не стал бы, поди, тянуть свои лапы к каленовской семье? Настя ждет его, мама и дедушка. Неужели так и сделает Осьмухин, как сказал Гутька? Одним словом Гутька разрушил радость стольких людей... Конечно, Осьмухин сделает все, чтобы вручить повестку. Ночей спать не будет, а отомстит за свое посрамление. Впрочем, если говорить по правде, Осьмухин и ни при чем. Любой

другой вручил бы ему эту повестку. Здесь обстоятельства... Но почему в такое время и почему так нехорошо складывается у него жизнь? Или это у каждого так?

Дома он не стал сразу говорить о том, что сообщил ему Август Репкин. Было бы большим преступлением сказать все сразу и омрачить счастливейший праздник...

Когда он, замирая сердцем, открыл дверь избы и встал на пороге, все: и дедушка, и Настя, и мать — они сидели за столом у старого медного самовара и пили чай, — все на какое-то время замерли, испуганно уставившись на него. Стало очень тихо. Дмитрий услышал даже, как тоненько поет самовар.

Когда он стал снимать шлем, мать, будто просыпаясь, потерла пальцами глаза и лицо и чуть слышно прошептала:

— Митя...

Случаются в жизни человека минуты, когда чувства становятся совсем не подвластны ему. Они в груди, будто огонь большого пожара, внезапно раскрепощенного и неистового. Они не часты, такие минуты в человеческой жизни, иначе бы человек скоро умер, независимо от того, чем вызваны эти минуты, радостью или горем. Дмитрий только один раз испытывал такую огромную и опустошающую взволнованность — когда остался впервые наедине с Настей и она стала ему женой. И вот сейчас, зацелованный матерью и Настей, затисканный в объятиях сильного еще Луки Павловича, он обессилел от счастья, и лицо его было горячо то ли от своих, то ли от чужих слез.

Бывает, и умирают люди, сожженные пожаром собственных чувств, но всегда стоит на страже их способность отвлекаться. На полу, на пестром лоскутном половичке, сидели два годовалых крепыша и, перепуганные непривычной суматохой в доме, слаженно голосили.

— Родименькие! — кинулась к ним Настя.

«Неужели это мои парнишки?» — удивился Дмитрий, хотя, конечно, знал, что его.

— Подойди же к ним, сыночек, — тихо сказала мать. — Это Павлик и Вася!

Он неумело взял на руки одного из малышей, не зная, Павлика или Васю, потому что они были похожи друг на друга, как две капли воды, но парнишка задергал ногами и занялся звонким протестующим криком.

— Смотри-ка! Боится!— удивился дед и покачал головой.— Своих не признает, а? Не узнал, значит...

— Его сейчас никто не признает,— сказала Настя.— Сколько времени не было-то...— Она посмотрела на Дмитрия нежно, но в ее словах он услышал упрек.

Мать не отходила от сына, гладила его руки и лицо, осторожно гладила, чтобы не причинить боль багровой от мороза молодой коже. И в ее глазах Дмитрий видел не только радость, но и тревогу и боль. Видно, не могла свыкнуться с мыслью, что провожала в город мальчика с детским пушком на розовых щеках, а встретила борода-того парня, испещренного рубцами и шрамами.

Лука Павлович пожалел невестку, когда увидел ее напряженное лицо, отвлек приказанием:

— Ничего! За одного битого семерых небитых дают. Хватит, Надежда, около парня-то сидеть, теперь насмотришься. Мигом соберите на стол, с дороги небось...

Женщины кинулись на кухню, а дедушка подмигнул внуку.

— А мы с тобой, Дмитрий Степанович, пока бабы туда-сюда, в баньку быстренько сбегает. Топили сегодня. Я-то теперь сразу не моюсь. Жду, когда бабы поплещутся и поохолонет там...

В предбаннике, когда раздевались, дед взял в руки слабенький жировичок и стал придирчиво рассматривать внука.

— Ну, что ж... Обжарился ты лихо, Дмитрий Степанович. Но ведь на ветру, я слышал, сталь для клинков закаливают. А в затишке всю жизнь не просидишь.

— Пришел вот в затишок-то...

— На хутор? Эх-хе-хе... Сюда и я приходил, и мой отец, и твой бы пришел. Здесь у всех Каленовых пупок резан. Бывало, отдышишься, залижешь болячки, и снова на ветер да на солнышко. Живем на свете не одни и сами себе не подчиняемся...

— Это правда. Я же сюда из станицы. Встретил Репкина. Он говорит, чтобы со дня на день ждал повестку в армию.

— Да неужто!— испугался дед.— Ты же столько дома не был!

— Живем на свете не одни, сам говорил только что.

— Может, соврал Гутька? Он же тут втихомолку все к нашей Насте клин бил. Не женится, все чего-то ждет.

Но она деваха разумная, сам слышал, как поперла Гутьку со двора. Может, попугать тебя захотел?

— Нет. В станице мой возраст берут.

— Господи! Ты хоть пока в доме не говори ничего.

— Не скажу. Может, обойдется...

Лука Павлович расстроился и в парилку не пошел. Дмитрий вымылся на скорую руку. Когда он вышел в предбанник и стал надевать белье, которое дала ему мать, дед грустно усмехнулся:

— Вырос, совсем вырос. Рубаха-то только до пупа. Не на радость себе вырос.

— Не будем об этом, дедушка. О том, что я сейчас скажу, маме ни слова. Если уйду в армию, Осьмухина тут больше не бойтесь. Врал он про отца все, пугал, чтобы дармовых работников заполучить. Отца белые убили, на Бурых копиях. В шурф сбросили...

Долго в эту ночь горел свет в доме Каленовых. Мать все смотрела и смотрела на сына влюбленно, подкладывала в его тарелку кусочки получше, хотя сразу заметил Дмитрий, что и на праздник, к которому, видимо, готовились в доме, не много разносолов было выставлено на стол. Во всем сквозила застойная бедность — и в еде, и в одежде, и в скудном убранстве помещения. Как и много времени назад, кухонные дощатые полки прикрывали бумажные шторочки, вырезанные кружавчиками. Мать одета в ситцевую кофточку, стираную-перестираную. Настя сидела рядом с ним то ли уставшая, то ли погрустневшая, молчала, и это беспокоило его. А когда утомленные, они ушли за полог спать, Дмитрий подумал вдруг с горечью, что Нина вела себя с ним по-другому — искреннее и смелее. Он не мог понять Настиной застенчивости, Настя сама объяснила:

— Ты не сердись, Митя. Не привыкла я... Ведь мужем и женой мы с тобой были так мало...

* * *

— К бою товсь!

— Средним кли!

— Прикладом бей!

Команды короткие и энергичные, словно хлесткие звуки кнута, поступают одна за другой, бесконечно, и винтовка, всегда послушная в сильных руках, с каждым

новым движением становится все тяжелее. По лицу из-под шлема катятся струйки пота.

— Молодец, Каленов!— хвалит его командир Василий Прохоров.— Штыком работаешь как полагается. Меня вот вызывают в отряд, так ты тут за меня. Продолжай проводить занятия с бойцами.

К этому в отделении привыкли. Каленов часто остается вместо Прохорова. Ниже учебного плаца, по берегу реки, маленькая рыбацкая деревушка разбросала домишки, а там еще два года назад завелась у командира зазнобушка, черноглазая рыбачка Полина. На заставе все знают об этом, хотя никто не может сообразить, как это замкнутый и неумолимо требовательный некрасивый Прохоров смог пленить сердце молоденькой и красивой девчонки. По этому поводу часто незлобно сплетничают парни, знают, что кое-какие вещички Прохоров уже перенес в деревню, потому что хочет остаться здесь после демобилизации, а он все равно для порядка строго блюдет свой мнимый секрет и в откровение с бойцами не вступает.

С Каленовым, думают бойцы, тоже не разговоришься. Он чем-то похож на Прохорова, но с ним легче. Свой брат. С Каленовым и перебежки короче, и перекуры длиннее. Сам он службу несет добросовестно, жесткие ее требования выполняет как полагается, но на подчиненных, когда приходится оставаться ему за старшего, нажимать не любит. Стесняется.

Василий Мурзин скоро раскусил эту приятную особенность и не скрывает своей радости, когда Прохоров уходит к Полине. «Прохоров — камень,— говорит он товарищам так, чтобы Каленов услышал и сообразил: Мурзин ценит его выше командира отделения.— В деревню Прохорову обязательно надо. Даже железный Стенька Разин, одну ночь провозжавшийся с бабой, наутро помягше стал, как в песне поется...»

Каленов уже знает, как дальше станут развиваться дела. Мурзин обратится к нему по всей форме и в это время будет преданно сверлить его нагловатыми глазами:

— Товарищ командир, разрешите отлучиться!

Так оно и было. Мурзин тут же исчез и, довольный тем, что перехитрил Каленова, наверное, спрятался где-нибудь в затишке, всласть садит махорку. А Каленов, как только разрешил Мурзину отлучиться, сразу же рас-

пустил бойцов на перекур. Пусть задумается нечестный человек, когда узнает, что хитрость его не удалась.

Каленов втайне доволен, что отпустил Мурзина. На занятиях и в строю от него только беспорядок. Штыковой бой — условный, не настоящий бой, — а Мурзин вихляется с трехлинейкой туда-сюда, пыжится, кряхтит, шинель на нем топорщится, хоть в огород парня ставь вместо пугала.

С радостью отпустил Каленов Мурзина. Он рассуждал так: бойцы, по сути дела, свое отслужили, с недели на неделю ждут увольнения в запас. И пройдут они мимо его жизни, растают бесследно, как прошли мимо и остались где-то далеко позади многие, кого он узнал за последние годы: Петр Крохалев, доктор Сомов, Нина Кошовкина, Никита Гудков и Алексей Кузькин... Встретит ли он их когда-нибудь? Не верится, так далеко в прошлом остались эти славные люди...

Никита и Алексей изредка пишут ему. И Нина прислала из Иркутска коротенькое письмо на тетрадном листке. Прочитав его, он почувствовал необъяснимую тревогу и грусть. Может быть, тревога и грусть таились между строчками письма, — он этого не мог понять. Письмо было беззаботным и даже веселым, но долго не покидало Дмитрия неловкое, виноватое какое-то чувство и беспокойство, будто вновь вернулся он в тихий домик Нины Кошовкиной и ушел из него совсем чужим, не отблагодарив за тепло, подаренное ему просто и щедро.

Нина писала, что работает и учится в медицинском институте, загружена разными заботами, у нее много друзей и дружить с ними, учиться — большая радость для нее. Ему тоже следовало бы учиться. Конечно, она понимает, в армии, да еще на границе, нечего и думать о какой-то системе в учебе, но книга всегда должна быть рядом. И в конце письма, как бы между прочим, Нина писала, что у нее растет сын Димка — солидный и очень самостоятельный мужчина, с которым не затоскуешь.

Эти последние, преднамеренно сдержанные строки озадачили и обеспокоили Дмитрия. Он сразу же написал ей письмо, в котором подробно, насколько позволяли условия службы, рассказал о своей жизни, посетовал на то, что учиться, как учится она, ему не дано. На заставе проводят общеобразовательные занятия, но основная учеба — стрельба, наряды и дозоры. Участок границы

у них, правда, спокойный, недалеко город, но жизнь все равно напряженная, и книжки он читает, в основном, те, которые по делу. Заканчивая письмо, напрямик спросил Нину, сколько лет сыну и почему она назвала его так. Волнуясь, ждал ответа на свое письмо, но Нина так и не ответила.

Кузькин тоже пишет редко и скупо. Письма у него бодрые, боевые, даже чуть запальчивые, и Дмитрий знает, что запальчивость Кузькина не только от его беспокойного характера, но и от невеселых дел в станице, от желания подбодрить, подстегнуть самого себя. Хлопотное дело взвалил на свои плечи Кузькин.

Лишнюю землю у богатых казаков забрали и передали в артель. Но казаков насильно в артель не переведешь. Тот, кто помоложе, ушел в тайгу на смолокурни и на заготовку леса. И деготь, и древесина в возрождающемся городе в хорошей цене. А старики перебивались мелким промыслом, которого не запретишь: рыбачили, охотились, собирали грибы и ягоды, мастерили бочки и сани,— опять же для города по договорам с кооперацией. Отобранная земля, щедрая и плодородная, прокормившая не одно поколение людей, из-за недостатка крестьянских рук пустовала, зарастала полынью и кустарником.

Дмитрий помнит насмешливо-дерзкие глаза казаков, их ядовитые улыбки, когда между ними и председателем артели произошел разговор. Кузькин тогда сказал, что плохие они крестьяне, если бросили родную землю и подались на разные промыслы.

Это было на другое утро после возвращения Дмитрия на хутор. Он не стал ждать, когда принесут мобилизационную повестку, неизвестность томила его. Забрав с собой обрадованную Настю и озабоченного Луку Павловича, он повел их в станичный сельсовет, чтобы расписаться с Настей и записать на свое имя ребят. «Может случиться, так быстро остригут, что и глазом не успеешь моргнуть». Мать уговаривала не спешить. Больше, дескать, ждали, день-другой еще подождать можно, даже за столом как следует не посидели, ребят он еще на руки не взял, боятся его ребята. А Дмитрий настоял на своем, страдая от того, что держит мать в неведении.

В станице они зашли к Алексею Кузькину, и Дмитрий попросил его, чтобы и он пошел в сельсовет для верности

дела. Никита Гудков тоже стал собираться, а глядя на него, и Мария.

— Во! В самый раз,— воскликнул Кузькин.— Мария у нас будет артиллерией.

— А что!— с веселым вызовом ответила Мария.— Может, и артиллерией! Ты, Алеша, не смотри, что я женщина простая. Не бойсь! На семи сидела — двенадцать вывела!

Дмитрий хоть и не говорил никому про свои сложные семейные дела, но, увидев, с какой готовностью согласился пойти в сельсовет Кузькин, с каким решительным видом собираются с ним Гудков и Мария, понял, что все-то им известно, что шила в мешке не утаишь. И он был благодарен этим людям, что никогда они не лезли с расспросами о том, как у него вышло несуразно — до венчания и росписи родились двое ребятишек. А возникни такой разговор при Насте, она не перенесла бы его. Смущенная и чуть ли не до слез взволнованная, она и без того не знала, куда спрятать глаза.

— Отряд, выходи строиться!— весело скомандовал Алексей Кузькин и, постукивая протезом, первым пошел на улицу.

Было еще довольно рано, солнце только-только вскарабкалось на вершину горы, под которой длинно и по порядку растекалась станица, а в сельсовете было уже так густо накурено, что Дмитрий не сразу увидел Осьмухина. На узеньких скамейках, расставленных вдоль стен, там и тут сидели казаки и о чем-то возбужденно разговаривали. При появлении председателя артели и его «отряда» все сразу смолкли, а Кузькин, поздоровавшись, заметил:

— Раненько, казаки, собрание у вас...

— Да ведь и ты, председатель, ни свет ни заря. Еще курица не квохчила и сорока не сокочила.

— Ясный день!— буркнул Кузькин и, подталкивая плечом Дмитрия, пошел к осьмухинскому столу.

Удивительно быстро оформил Осьмухин бракосочетание Дмитрия Каленова и Анастасии Колосковой. Только побегал обеспокоенно черными глазами туда-сюда, с Дмитрия на решительного Кузькина, потом на сурового Гудкова, на Луку Павловича, смотревшего испытующе и строго и, сообразив, что волынить ему не дадут, не за тем пришли такой грозной компанией и не зря такая напряженная тишина установилась в сельсовете, пригото-

вил свидетельство о браке, метрики на ребят, подышал старательно на печать, пошлепал ею по бумажкам и, сложив стопочкой, левой рукой подал документы Дмитрию, а правую, лодочкой, улыбаясь протянул для рукопожатия.

— Поздравляю с законным браком!

Руки ему Дмитрий не подал, будто не заметил, а Настя оробела совсем, растерялась и ответила на рукопожатие Осьмухина. Дмитрий посмотрел на Настю, жалея ее, а она вспыхнула огнем и потупила взгляд.

Когда молча, один за другим, они пошли к выходу, кто-то из казаков крикнул вслед:

— А свадьбка? Или как у председателя?

Кузькин остановился, остановились и те, кто шел за ним.

— Ясный день, свадьбы не будет.

— Что так? По-новому не полагается?

— Полагается, Куцев. Только не время. Солнышко пятки греет.

— А что нам солнышко! Для нас сейчас все одно, что ведро, что дождик.

— Плохие, значит, вы крестьяне.

— Почему вдруг плохие? Всегда были ничего себе, голодные не сидели.

— Ты, Куцев, и сейчас живота своего не жалеешь.

— Правильно, работаю...

— Работаешь... На базаре в городе кричишь, что у тебя лучший в мире деготь.

— А ты вот не можешь крикнуть, что у тебя лучший в мире хлеб. И земли много, а растет там фига. Ведь не крикнешь?

— Силен, Куцев! Нет, пока не крикну. Подождем немного.

— Вот, вот, подожди, товарищ Ясный день. Это я когда был мальчишкой, отец орехов привез из города заморских,— уже обращаясь ко всем со спокойной издевкой, начал рассказывать Куцев.— В кувшин орешки-то ссыпал, а я руку туда шасть, сгреб полную горсть, а вынуть не могу. А отчего? Пожаднича-ал! Отец говорит: «А ты ссыпь половину-то, и вынешь руку».

Казаки захохотали, усмехнулся Осьмухин.

— Мудро, Куцев. В десятку бьешь. Я так и знал, что ты смолоду такой заграбастый.

Старик нисколько не смутился.

— Вот-вот! Я заграбастый, а руку-то вытянуть кто не может? А если бы Советской власти знать, как мой отец говорил, а?

— Ты Советскую власть не трожь!— тихо отрезал Кузькин.

— А как я ее трогаю? Я же ведь не против нее. Это она против меня. Ты вот, товарищ Ясный день, на собраниях все за народ хлопочешь, кричишь, так и помогай сам! Ногу свою хоть продай, а помогай, если назвался. Ан нет! Ты землю у меня отрезал, а потом совесть мою стал ковырять, когда на школу деньги собирал.

— Совесть у тебя деревянная. Денег ты не дал.

— А почему я должен их давать? Сам я уже ученый. Научили. А учить больше мне некого. Куцеву никто не давал денег, когда он свой дом ставил. И правильно. Человек человеку, может быть, и не волк, но и не родной дядя.

Казаки одобрительно посмеивались, а Куцев, поддерживаемый этим смехом, смелел все больше. Храбрости ему придавало и то, что успел он узнать откуда-то, кто такой Гудков, так перепугавший его накануне вечером.

— Если я неправильно, Ясный день, говорю, ты мне растолкуй. А растолковать ты не можешь. Кривдой правду не растолкуешь. Это всяк скажет, и даже твой товаришок из города...

— Я бы тебе растолковал, старая селедка!— рявкнул Гудков.— Ты думаешь, что если тебе эти люди подхохатывают, так и правда твоя? Глумишься над Советской властью и рассчитываешь, что это тебе так сойдет?

Куцев засмеялся мелко и бесстрашно, и на его лбу разбежались тонкие морщины. Что мог сделать ему здесь, в станице, этот чужой парень?

— Значит, все-таки не пройдет? Вот и договорились, что человек человеку не родной дядя, а совсем наоборот.

Они выскочили на улицу под громкий и издевательский хохот казаков, первым Гудков, за ним Кузькин и остальные. Последней шла Мария Щелкунова.

— Ну, Алексей Васильевич, отделали они наш отряд крупно. Этот старый перец ведь прямая контра! Мать его так и разэтак! Кажется, попал ты в такое болото, что и не выкарабкаешься.

— Выкарабкаюсь!

— Петра Крохалева бы сюда с Усольцевым... Поговорил бы тогда этот паук!

Настя тронула руку Дмитрия. Она хоть и была рядом и ядовитую перепалку слышала, но переживала свои счастливые минуты.

— Митя, покажи метрики-то... И свидетельство.

Он вынул из нагрудного кармана документы, развернул первую бумажку и чуть не выронил ее. Это была мобилизационная повестка...

Над крохотной заставой, над тайгой носилась неистовая мартовская пурга. Дмитрий всегда любил пургу. В детстве было весело прокатиться на грубых самодельных лыжах под свист и похохатывание упругого ветра, задирающего шубенку и швыряющего в лицо горстями совсем не холодный снег. И во время службы на границе пурга вносила не только какое-то разнообразие в суровую и монотонную жизнь, но даже некоторые удобства. Меньше приходилось топить ветхую казарму, разместившуюся в старом рыбацком доме, подсобные помещения, да и в наряде было в это время теплее и интереснее.

В хорошую, ясную погоду редко кто отважится переходить границу. Река вся будто на ладони. Днем и в лунные ночи видно, как на противоположном берегу над реденькими домиками чужой деревушки полощется дым, и человек, спустившийся к реке, виден четко. Сразу поймешь, крестьянин ли это с ведрами или спиртонос с тяжелым заплечным мешком. Река в этом районе тихая и прямая замерзает ровно, без тороса, и потому нарушители не любят совать сюда нос. Любая попытка перейти границу на этом участке в ясную погоду обречена на провал.

На счёту у Дмитрия Каленова уже несколько задержанных, но ни одного сколько-нибудь серьезного. Все это шантрапа — спиртоносы, спекулянты, зарабатывающие на мелких операциях, или же крестьяне, плохо разбирающиеся в пограничных порядках. Завяжет какая-нибудь тетка гостинцы в узелок и идет в гости к знакомым на чужую сторону. Застигнутой врасплох тетке и не растолкуешь сразу, что она нарушительница государственной границы.

Правда, теперь все реже и реже простые люди допус-

кают такое. На это идут только недобитые белогвардейцы, репрессированные Советской властью кулаки, крупные контрабандисты, валютчики — люди смелые, опытные, умеющие постоять за себя, в отчаянии готовые на любую пакость. Для перехода через рубеж они выбирали места безлюдные, труднопроходимые, погоду выжидали подходящую — с дождями, снегами и ветром.

И тогда ухо остро держи, пограничник, в хаосе дикой непогоды сумей услышать каждую треснувшую веточку, зазвеневшую льдинку от тороса, не глазами уже, а сердцем разглядеть через пелену дождя или через метель силуэт человека.

В такую пургу, что разразилась сейчас над тайгой, службу нести сложнее еще и потому, что в наряд бесполезно брать собак. По рыхлому и мокрому снегу метровой глубины передвигаться можно только на охотничьих широких лыжах. А собаку на спине тащить не будешь, да и след не возьмет она в такой крутоверти.

И все же пурга, даже такая жестокая, милостивее, чем мороз в ясную звездную ночь. Не сковывает лицо, руки и тело. Мешает слушать ночь? Но ведь и не решится никто пойти сейчас, не рискуя заблудиться. Пурга эта особенная. Реку она запеленала снегом, а под ним таятся наледи и первые разводья. Никто не знает, где ступить. Не угадал — поминай как звали! Правда, напротив каленовского поста есть длинная песчаная отмель, которая уходит далеко к противоположному берегу. По отмели летом безбоязненно можно пробрести до острова, что рядом с другим берегом. Но это только летом. Сейчас отмель, словно шубой, покрыта снегом, ногою не нащупаешь...

Каленов ловко устроился под вывороченным корнем старого кедра. Лежка надежная, проверенная еще с лета. Никто в мире не заметил бы его сейчас под белой шапкой снега, а у него обзор широкий — в хорошую погоду, конечно. Сейчас в нескольких метрах от лежки начинается белая воющая мгла.

Дмитрий стал слушать пургу. Она многоголосая — пурга. То зашумит вершинами деревьев, то, поскуливая, начнет трепать кустарник, то, яростно ухая, побежит к речке. Но все это только шумовой фон к тому, что он должен услышать. Вот неподалеку, где растут молоденькие березки, а летом полно рясного малинника, глухо

зашумев, упал ком. Это утомленная березка стряхнула с себя снег. Потом словно струна басовито запела. В позапрошлом году, на забаву медвежатам, расщепило грозой старую дуплистую лиственницу. Те, первые медвежата, которые баловались здесь, уже выросли, сейчас другие будут играть на щепе. Они живут с матерью в дупле большого кедра. Каленов ясно представил себе, как станут забавляться медвежата-ребятишки. Оттянут щепу, отпустят и слушают, как поет она.

Слева от него, под каменным козырьком скалы, пост Василия Мурзина. Там крутой, каменистый берег. Даже такая сильная и продолжительная пурга не смогла засыпать склон. И Каленов услышал, как по этому склону покатались камешки. «Мурзин небось все еще устраивается, гнездится поудобнее. Нечаянно задел снежный козырек и столкнул камешки...»

Справа от него под елью лежит командир отделения Василий Прохоров, чрезвычайно аккуратный человек. Этот всегда будто замирает, ничем не даст о себе знать без надобности.

Невольно Дмитрий перенесся мыслями к родному дому. За время службы он только один раз был на хуторе. Через полгода после призыва его отпустили на десять дней по печальному поводу — умерла мать.

Последние годы она постоянно хворала и совсем слегла, когда узнала, что сына забирают в армию.

— Как же это так? — тихо плакала она. — Где справедливость? Столько времени не был дома, с женой не поласкался, ребят на руках не подержал...

С тяжелым сердцем, будто предчувствуя беду, уходил он тогда на призывной пункт. Мама больна, Настя по рукам и ногам связана мальчишками, дедушка хоть и бодрится на людях, а все норовит прилечь. Скучность из дома отступала медленно. Правда, с тех пор, как дедушка стал работать пасечником в артели, жить стало легче, и все же, если присмотреться, небогато они живут... Забор у дома — будто стариковские зубы — туда-сюда, где есть, а где нету, рубашонки на ребятишках из старья перешиты. И первая, единственная побывка была у него до боли грустной, даже встреча с Настей не так обрадовала...

Настя встретила его около дома, уронила на грудь голову и стала плакать тихо, жалобно и беспомощно,

словно ребенок. А он гладил ее по мягким волосам, не находя слов, чтобы успокоить, подбодрить, потому что опрокинулись на него сразу и усталость, и удивление, и страх оттого, что пришел он домой в чистый летний день с солнцем, голубым небом, с веселым шумом реки и деревьев, а радости нет. Только горечь от такой встречи, от своей беспомощности перед случившимся.

Похоронили маму тихо, рядом с сестрой Луки Павловича. Настя хлопотала у стола, готовила поминки. В открытое окошко струился предзакатный свет, но он совсем не окрасил ее утомленного лица, тронутого первыми морщинками, чем-то похожего сейчас на лицо мамы. И снова безотчетный страх вдруг нахлынул на него, сжал сердце. Он ушел за ситцевый полог, где после смерти Федосьи Павловны жила Настя, и, чтобы успокоить себя, присел около широкой деревянной кровати и стал смотреть, как, разметавшись на лоскутном одеяле, спят его мальчишки. Еще не преодолев непонятное беспокойство и страх, охватившие его, он нагнулся над ребятами. Мальчишки были крепенькие, чистенькие и ухоженные. От них пахло летом, молодыми яблоками и молоком. Осторожно тронув налитую щечку одного из мальчишек, он улыбнулся и подумал, какие они ладненькие. Настя, видно, заботливая. И, подумав так, понял, почему только сейчас, около Насти, его больно уколол страх: «Неужели и для нее все будет, как для мамы? Все время одна, в заботах, слезах, без радости... Ведь она может и не выдержать!» Он всегда тепло и нежно думал о Насте, но это была ровная, как речка в тихую погоду, спокойная нежность, а сейчас словно разбудили его, подтолкнули сердце, и все дни, которые Дмитрий провел дома, он старался быть ближе к Насте, неумело ласковый и счастливый оттого, что и она, будто травинка под солнцем, стала выпрямляться и хорошеть. К ней лезли на руки мальчишки, не к нему, а к ней, потому что все еще смотрели на отца настороженно. Он обижался, принимая настороженность за неприязнь, и Настя успокаивала его:

— Привыкнут, Митя. Нелюдимо у нас тут. Не видели они никого, кроме своих, вот и пугаются...

Только поздно вечером, когда становилось темно и нельзя было заниматься делами, они оставляли Луку Павловича с ребятами, а сами уходили на яр, под

старую березу, где все висел любопытный месяц, таинственно призрачный свет струился сквозь ветви. А вокруг сонно шумел вершинами лес, позванивала камешками река. Настя несла в себе чистый запах лета, незрелых яблок и молока. Он смеялся, говорил, что пахнет она ребятишками, вкусно, и нет ничего на свете лучше этого.

— Чудной ты, Митя... Это же медом пахнет, а значит, и летом, и яблоками. Я все время около ребятишек, а они сластены, особенно Вася. Лопают мед, как медвежата.

— Хорошо здесь. Век бы вот так...

— Я часто сюда прихожу. Приду, поплачу — и домой.

— Трудно тебе...

— Трудно? Не жалей. Тебя дождусь, будет полегче...

— Не скоро еще... Невезучий я. Тебя нашел и как будто сразу потерял.

— А кто везучий-то...

— Мало ли кто... Репкин, к примеру. Работает. В армию не берут, потому что косолапый. И не женится до сих пор. Из-за тебя ведь не женится, говорил мне...

— Пустое, Митя. Не надо. Меня ты любишь.

— Люблю. Сильно. Сильно люблю, милая ты моя!

— А ребят? Павлика, Васю?

— Это другое...

Она испуганно отпрянула.

— Почему же, Митя!

Он спохватился, понял: сказал что-то не так, хотя действительно к своим детям он испытывал другое чувство, чем к Насте. Забавные, маленькие и беспомощные, они были трогательны, но не волновали так, как волновала Настя, мысли о ней. Он не умел этого передать и растерялся, когда испугалась, отшатнулась от него Настя.

— Как это сказать-то...

— Чего уж тут скажешь... Все сказано, — обида слышалась в голосе Насти.

Он злился на себя за то, что всегда не умел лукавить, говорил честно, что думает. Он и дедушку любил, и маму, и отца, но ведь это была совсем другая любовь! И нельзя все называть одним словом!

Ему было неприятно вспоминать о размолвке и, продолжая прислушиваться к беспокойной метельной ночи, он стал думать о другом. Будто два разных человека лежали сейчас под деревом. Один настороженно и внимательно слушал пургу, всматривался перед собой в колышущуюся снежную стену, другой напряженно ворошил в памяти все, что не относилось к этой пурге, завалившей снегом тропы, кустарники, все живое.

«Интересно, Прохоров позволяет себе вот так думать о разном, что не относится в эту минуту к делу? О доме, скажем. Ведь есть же у него, наверно, отец, мать. О своей Полине думает небось, о демобилизации. Мысли в голову без спросу приходят. А Прохорову тоже понятно, что в такую канитель только сумасшедший пойдёт в тайгу...»

Но, представив своего отделенного, замкнутого парня, Дмитрий засомневался. «Этот, может, и не посмеет думать о чем-то постороннем, деревянное дерева сейчас. Мурзин думает, я думаю, а он служит».

Прохорова недолюбливают. Сперва поговаривали, что из-за нового уголка в петлице старается, тянется изо всех сил Прохоров, двух дескать, мало. И это было как-то понятно. «Каждый по-своему свой дом строит». Но люди, таким образом взбирающиеся по служебной лестнице, часто угодничают, а то и наушничают, а Прохоров подхалимов презирал и при удобном случае жестоко наказывал их. Мурзин такую особенность Прохорова первым испытал на себе. Он попробовал с этой стороны прощупать командира отделения, стал оказывать ему мелкие услуги, но тот сразу сообразил, в чем дело. Мурзин, вытянувшись в струну, будет пожирать тебя преданными глазами, а в душе насмешничать, пальцами в сапогах шевелить. При первом же проявлении лести Прохоров вlepил Мурзину наряд вне очереди за плохо вычищенное оружие.

— Я его хорошо почистил! — запротестовал Мурзин.

— Плохо. Наряд вне очереди — и отрублено!

Мурзин шел к оружейной пирамиде и ворчал:

— Отрублено! Тупой топор не рубит, а кромсает.

Прохоров вернул Мурзина. Он не повысил голоса, не сделал ни одного лишнего движения, но Мурзин съёжился под взглядом отделенного, под взглядами стоящих рядом бойцов.

— Красноармеец Мурзин! За небрежное отношение к оружию и пререkanie — два наряда вне очереди!

— Есть два наряда...

К Каленову Прохоров относился хорошо, хотя особых знаков внимания не проявлял, кроме, может быть, того, что оставлял вместо себя в отделении.

— Умеешь ты, Митя, с достоинством себя подать. Таких боятся трогать, — завидовал ему Мурзин.

— Перестань... Нечего тут уметь.

— Может, и так. Вы двоюродные братья. И оба небось из староверов. Ты не сердись, Митя, я любя скажу. Бог когда вас создавал, сделал крепко-накрепко. Увлёкся, а душу забыл вложить. Ты только не сердись...

— Я не сержусь. Тебя-то кое-как бог слепил. А вместо языка хвост длинный пришил.

— А почему вы с ним не дружите? — не отставал Мурзин. — Ведь жили бы душа в душу.

— Разве мы враждуем?

— Нет, чтобы близко, понимаешь? Душа в душу.

— Что, Прохоров — девка, что ли, душа в душу? С бухты-барахты не люблю.

Разве по жизненной дороге друзей надо оставлять, как вешки? Прохоров, если случится, может, наверно, стать другом без лишних разговоров, как стали без лишних разговоров друзьями Гудков и Кузькин.

Он стал было думать о Гудкове и Кузькине, но вдруг вздрогнул, невольно подтянул к себе винтовку и замер, напрягшись всем телом. Сквозь вой ветра и сонный шелест снега он услышал, как справа от него ухнула сова. Это Прохор крикнул совой, как было условлено, призывая всех напрячь внимание. Сигналов Прохоров попусту давать не станет, что-то обеспокоило его. Может, зверь прошел по лесу, сохатый или кабан, хотя это маловероятно. В такую погоду, ночью, зверь не пойдёт, если не спугнуть его, и сова тоже кричать не станет, потому что вряд ли захочет мышковать в пургу. Это и Прохор знал, но совиный крик был единственным серьёзным сигналом к особой бдительности и осторожности.

Прохоров крикнул еще раз, и тогда Каленов выполз из убежища и лег около корня справа, уже головой не к речке, а к Прохорову. Потому что со стороны Прохорова надо было ждать появления нарушителя. До боли в глазах он напрягал зрение, пытаясь увидеть что-то

сквозь снежный хаос, услышать хоть малейший посторонний звук, но слушать мешал шлем, он снял его, сунул за отворот полушубка, а подшлемник закатал повыше. «Пограничник — глаза и уши Родины», — почему-то вспомнил он плакат, висевший у них в казарме. «Вот тебе и уши, и глаза, — подумал сердито, — ни черта не видно».

Справа несколько раз стукнул дятел. Это Прохоров приказывал выдвинуться в лес на пятьдесят метров. Каленов уже приготовился ползти, подгрёб к себе лыжи, укрепил на локте винтовочный ремень, как совсем близко от себя увидел два человеческих силуэта. Они двигались по снежному экрану прямо наискосок от него.

— Стой! Кто идет?

Силуэты качнулись, метнулись назад в пургу и растворились в ней так быстро, что он только успел снять предохранитель.

— Стой! Стрелять буду!

В ответ прозвучал глухой, будто в вате, выстрел, сразу за ним другой, и он по звуку понял, что стреляли из дробовика, жиганом, потому что винтовочный выстрел звучит хлестко, а этот басовито и глухо. Встав на камуски, уже не таясь, Каленов кинулся туда, где только что колыхались человеческие силуэты. Вскоре он увидел следы лыж. Люди, бежавшие на камусах, были крупные или с кладью. В нем самом весу за восемьдесят, с вооружением и того больше, а следы от его лыж значительно мельче.

Нарушители не оставили намерения перейти границу, иначе они направились бы глубже в лес, а лыжня пролегла по косогору вдоль берега к мурзинскому посту. «Мурзин придержит их. Надо что есть сил бежать к нему. Положим в снег, а там и Прохоров подойдет...»

Прохорову сразу подойти сейчас нельзя. Надо ждать. Бывает, что перебежчики растягиваются цепочкой или оставляют за собой что-то вроде боевого охранения. Плохо, если погорячишься, не выждав, побежишь поддерживать своих, а за твоей спиной останется вооруженный человек.

Прохоров — боец хладнокровный. Убедившись, что за нарушителями не тянется «хвост», он даст сигнал из ракетницы на заставу и примчится мигом. Тогда перебежчикам не уйти. Люди они неопытные, границы не

знают, иначе не полезли бы на самое легкое и хорошо охраняемое место. И не боевым оружием они вооружены, даже не охотничьими берданками, — это тоже говорит, что перебежчики случайные.

В мглистое небо взвилась красная ракета. Прохоров дал знать заставе, что на его участке не все благополучно. Свету от ракеты — как от спички в подземелье, пурга сразу поглотила ее, может быть, и не увидели ракету на заставе, но все же Каленов знал теперь, что Прохоров бежит вслед за ним. Чуть ли не одновременно с ракетой впереди щелкнул винтовочный выстрел, за ним другой и третий, уже ружейный. Это Мурзин открыл перестрелку с бандитами. Каленов и без того бежал что есть мочи, а тут рванулся, задыхаясь от ветра, не замечая, как ветки с мелких деревьев и снег секут лицо, а сердце, будто молот, стучит в груди, готовое вот-вот разорваться от тяжелых размеренных ударов.

Неподалеку от поста Мурзина лыжня вдруг вильнула резко вправо, побежала по склону горы к реке. «Почему Мурзин не задержал их? Ведь рядом же прошли! Может, бросился в погоню?» Но от скалы, где они с Прохоровым оставили Мурзина, не было свежей лыжни. Предчувствуя недоброе, Каленов срезал угол и побежал к мурзинскому посту. Он увидел Мурзина неожиданно для себя и остановился, не решаясь приблизиться. Пограничник лежал за поваленным деревом, уткнувшись лицом в снег, и винтовка его рядом, приткнулась штыком к березе.

— Мурзин! Вася!

Повернул тело Мурзина, нагнулся над ним и отшатнулся, увидев, как Мурзин смотрит на него неподвижно одним глазом.

— Елочки-метелочки! Мурзин же убитый!

Каленов рванулся напрямую к каменистой круче, а не к лыжне, которую оставили перебежчики. Так значительно сокращалось расстояние до берега. Он сбросил вниз лыжи, а потом сам скатился на спине по грохочущей гальке, повторяя: «Мурзин убитый! Мурзин убитый!»

Под кручей и под склоном горы, которая тянулась от утеса, совсем не пуржило. Здесь было даже тихо, и он сразу увидел тех двоих, что убили Мурзина. Спустившись к реке с пологого склона, они один за другим бежали на лыжах к острову, от которого до другого бере-

га рукой подать. Каленов упал за гранитный валун, сбросил рукавицы.

— Стой! Стрелять буду!

И не узнал своего голоса, таким он был тонким и, как показалось ему, слабым. Но те двое его слышали, залегли под торос, тускло и холодно поблескивающий в всплесках поземки, и открыли огонь из двух ружей. Били они умело и метко, потому что по валуну чиркнули и, рикошета, заныли две пули.

— Дураки, за торосом спрятались... — сказал вслух Каленов, хотя понимал, что спрятаться на реке больше негде. — Однако кончать надо. Где же Прохоров? Он должен увидеть меня с горы, здесь близко...

Луна выглянула на секунду, блеснул торос, и, сразу успокоившись, Каленов выстрелил под него. Подождал, послал еще одну пулю и равнодушно отметил про себя, что из-за тороса стреляют уже из одного ружья.

Он сменил обойму, но стрелять не стал, потому что и второе ружье замолчало вдруг.

«Все или затаился?» — подумал он, хотел передернуть затвор, но его больно ударили в спину чем-то тупым. Он услышал за собой на горе хлопок, попытался повернуться, посмотреть на гору: там должен быть Прохоров, почему он выстрелил? Но повернуться не смог и, уже угасая сознанием, почувствовал, что уткнулся в снег, потому что губы и пальцы стало сводить холодом. И положение тела у него было такое же, как у Мурзина, когда он нашел его за деревом. Но если он сам лежит вот так же неловко и беспомощно, почему Мурзин смотрит на него мертвым глазом безотрывно, пристально и жутко?..

— Мужиком ты совсем стал. — Никита Гудков внимательно оглядел Каленова. — И в плечах и в росте. Придешь домой — буду просить к себе заместителем. Кое-кому мы таких чертей тут зададим — заплачут!

Шепчутся молоденькими листочками кроны берез, невысокие и густые травы, майский ветерок резво хлопочет на Ягодной горке, бегаёт от деревца к деревцу, от могилы к могиле. Неяркое закатное солнце греет еще сильно, и обманутые его теплом, птицы не спешат устраиваться

на ночлег, щебечут на весь свет радостно и беспечно, будто бы на свете ничего нет, кроме их птичьих забот и песен. Кругом разлился такой тихий и умиротворенный покой, что даже сведенный чуть ли не до шепота голос Гудкова кажется грубым и лишним.

— Или возражаешь? Слабо, может быть? Постреливают кулачки...

— Брось... Стреляли. Просто здесь плечами и ростом не возьмешь. Голова нужна.

— И азарт. И упрямость.

Каленов промолчал, усмехнулся только. «И азартом не возьмешь, Никита, и упрямостью».

— Ты, слышу, хмыкаешь. Или неправильно я говорю?

— Может, и неправильно. Тут человек особенный надобен. А я такой, как и все. За умным пойду, а верховодить не возьмусь. Не для меня.

— Значит, все же слабо, Дмитрий Степанович?

— Но не потому, как ты думаешь. Помнишь, три года назад Алексея Васильевича в сельсовете казаки к стенке прижали? Что он мог им тогда сказать? Слова? И ты, между прочим, не нашелся, матюком в них пальнул.

— Ну и что?

— А то, что я тоже, может быть, кроме этого ничего не умею. А криком и разными словами казаков не возьмешь. Все они стреляные и пуганые. И у каждого из них, может быть, своя правда есть. Ты-то свою готов и ружьем и кулаком отстоять, а почему они так не могут?

— А если у них неправильная правда?

— Ты докажи. Не шумом, не словами. Сможешь?

— Смогу.

— А я не смогу. Не учили. У меня даже и слов подходящих нет. Каждое, как ребенок, рождается, как копылок санный. Не связал — сани разъезжаются. А связать не умею.

— Тебе бы стариком появиться на свет...

— Да? А что в этом худого? Старики меньше горячки порют. Это я знаю, потому что со стариками рос. В деле же, за которое ты взялся, горячку пороть нельзя. Хоть ты и старше и умнее, я тебе так скажу.

— Учту, мудрый человек.

— Ты не смейся, Никита. Говоришь, чтобы взялся помощником, и не знаешь, что каждому свое дело дано.

Даже в станице один хлеб сеет, другой рыбалкой промышляет, третий деготь курит. У кого что получается. Поймешь ли... Вы люди городские. И ты, и Алексей Васильевич.

— Не совсем. В деревне родились.

— В деревне родились, а в городе выросли. Из-за этого не сразу вам верят. То на зубок берут, то и на пульку...

— Ты, вроде Куцевых, защищаешь и захребетников ихних.

— Нет... Куцевых в станице было раз, два — и обчелся. А многие казаки за Куцевым шли. Привыкли. Хозяева крепкие. Кому не хотелось так же крепко жить? К Кузькину вот не привыкли и не всякий понимал его. Сам на чужой квартире живет, ни кола ни двора, а зовет за собой... Куцевых постреляли — ясно. А этих, которые тебе еще не поверили, тоже из ружья?

Председатель артели «Ясный путь» молчит. Каленов говорит правду, а соглашаться как-то неохота: его мальчишка учит!

— Ты вот молчишь, — продолжает Каленов, — мозгами туда-сюда крутишь, потому что доказать я тебе не умею. А ты казакам сразу докажешь? Когда сам в землю вращешь по пуп, — повторяет для убедительности Каленов, — тогда докажешь. Только не горячись. И слезами не грози, здесь этого не любят.

Они говорят тихо, спокойно, даже лениво вроде, на кладбище только дураки кричат и шумят, а крикнуть охота, особенно неудержимому Гудкову. Яростно и громко крикнуть, чтобы разом потушить заупокойную тишину вокруг с умиротворенным шелестом берез и легкомысленным чириканьем птиц. Гудков начинает скручивать папиросу и не замечает, что газетка прорвалась в толстых поддрагивающих пальцах и табак сыплется на землю.

— Сыплешь махорку-то наземь...

— А, черт с ней! — он сердито сминает бумажку, забрасывает в траву, но тут же лезет за новой.

Солнце быстрее покатилося за багряную от заката горку, птицы уgomонились, и ветерок потянул зыбкий, вечерний.

— Позднеет уже...

— Да, пора идти. Я у тебя заночую, на хуторе.

Спустившись с горки в низину, они пошли по узенькой дороге к Каленову яру. Первым Гудков, за ним Каленов. Кругом там и тут, на распаханых заплатках цэлика, ровненькими рядками зеленела молоденькая травка. Гудков нагнулся, сорвал стебель, пожевал, шевеля усами.

— Что здесь?

— Дедушка цветы пчелкам посеял, клевер. Липа далеко. Устают пчелки.

— Однако много он тут один наковырял...

— Не один. С Настей. Они в прошлом году вдоль берега и около пасеки липы насадили. Сейчас легче. Алексей Васильевич лошадь выделил.

— Когда она вырастет, липа-то?

— Не скоро. Но вырастет. Не один день живем. Вернусь — помогать стану, если оставишь тут.

— Оставлю.

— Ну вот... Пасеку прибавим, расширим посадки.

— Строить надо вдоль берега к хутору. Земли уйма, а пустоет. Почему казаки в тайгу вгрызались, а вдоль берега не сеяли?

— В тайге затишок. Снегу много для хлебов, перегной лесной. А здесь влагу солнце выпаривает. Траву сеять хорошо, скотники ставить.

— Сам придумал?

— Нет. Дедушка с Кузькиным советовались...

— Когда Алексей успел узнать все это?

— Ты же сам говорил, в деревне родились...

По молчаливому уговору они старались не затрагивать имени своего друга, но это было трудно. Какой стороной ни повернулся бы разговор, а все равно коснется Кузькина, заставит замолкнуть обоих. Каленов и так сказал сегодня много. Скопились слова и прорвались, будто кровь из открытой раны.

Алексей Васильевич Кузькин лежит сейчас вместе с Марией Щелкуновой неподалеку от могилы его матери. Василий Прохоров и Василий Мурзин укрылись одним дерновым холмиком под каменным надгробием на заставе. Сам он около двух месяцев провалялся в госпитале. Времени было предостаточно, чтобы много раз передумать обо всем и скопить эти слова.

Трагедия вьюжной мартовской ночи началась в станции Березовая горка. Давно уже бродили слухи вокруг

про кулацкие мятежи и восстания, но здесь было сравнительно тихо, если не считать того, что еще в начале коллективизации при странных обстоятельствах пало несколько обобществленных лошадей. Артель существовала, хотя многие станичники выжидали, не спешили записываться туда, занимались отхожими промыслами, мелким огородничеством, охотой, рыбалкой, чем и кормились. Людей не хватало, и артель, объединившая плодородные земли частников, скот и инвентарь, не развившись стала хиреть на глазах у всех. Некоторые станичники выкрадывали свой скот и уводили на подворья. «Артель — что новый лапоть на воде. Хоть и не тонет, но и не плывет далеко», — отовсюду был слышен насмешливый и злой шепот, и Алексей Кузькин с ног сбился, бегая из дома в дом, призывая станичников взяться за ум. Но кто-то хитрее и убедительнее разговаривал с ними. Догадывался председатель, кто подстрекает людей, но прямых доказательств у него не было. Он ждал случая, который помог бы ему разоблачить, прямыми вескими уликами прижать к стенке застрельщиков.

Такой случай представился. Под вечер снежной мартовской субботы спустились в станицу смолокуры. Их в семьях ждали, потому что днем еще там и тут дымили бани, а в селпо толпились бабы за сушками и селедкой. Скоро к банному духу примешался дух самогогонный, и понеслись удалые казацкие песни над станицей.

Только одному человеку было невесело в этот вечер — Трифону Рублеву. Он тоже целый месяц варил деготь в лесу и тоже шел домой к горячей баньке, к самогонной четвертухе и к рыбному пирогу. Но ничего этого для него не было приготовлено. Женка его спала в постели, застланной на двоих, пьяна-пьянехонька, а на неприбранном столе стояла распечатая бутыль самогона и два стакана.

Рублев повел по избе красным глазом, увидел на гвозде у двери шинель своего постояльца и, окончательно озверев, не дав опомниться Дуське, жестоко избил ее, допил из бутылки самогон и пошел к председателю артели. Хоть по примеру многих и не спешил Рублев вступать в артель, а жаловаться, кроме как Кузькину, ему было некому.

Пьяный, до самых глаз заросший сивой щетиной, прокопченный до костей дегтярным дымом, в прожженной одежде, он и на человека не походил, когда ввалился в избу Марии Щелкуновой. Она хлопотала у печки, раз-
румянилась, а когда увидела на пороге Трифона, румянец с ее лица стал спадать.

— Ты что, леший...

— Председателя! Где Ясный день?

— Хворает он. Не лезь! Иди, ради бога!

Алексей и правда лежал несколько дней прикованный к постели простудой.

— Все равно давай, хворого!

Мария — женщина сильная. В два счета выпроводила бы она за порог тщедушного пьяного Рублева, но из-за полога подал голос Алексей:

— Пусти его, Маша, если за делом.

Трифон откинул ситцевый полог, грохнулся перед кроватью Кузькина на колени.

— Избавь! За ради бога избавь!

Кузькин присел на кровати исхудавший, взъерошенный и непонимающе уставился на гостя.

— Ты пьяный, Трифон. От кого избавить?

— От Ивана, говорю, избавь! Заел он мою жизнь, как вша!

Мария приносила домой бабью сплетню про то, что в доме Рублева не поймешь сейчас, кто хозяин, а кто постоялец. Дуська Рублева, лыком шитая Дуська Рублева, расцвела, к удивлению всех, неожиданно, как папоротник майский, повеселела. Пьяненькая все время и бесстыже вихляется. Смолокур Рублев и так леший лешим, а сейчас, когда рогатый,—еще больше на чудище похож.

— В семейные дела, Трифон, не лезу. Ты сам пустил Осьмухина квартирантом.

— Да ведь кто знал-то?

— Вот как пустил, так и откажи. А потом, и ошибиться ты мог по пьяной лавочке.

— Ошибиться! Столько времени молодой мужик без бабы проживает? А кто ей баретки кожаные купил, я? А для кого она помадами мажется? Для меня, скажешь? А в чистой постели, будто краля городская улыбается, тоже для меня?

— Не ори, Трифон. Голова болит. Поговори с женой по-хорошему.

— По-хорошему? — Трифон вылупил глаза. — Только сейчас говорил. Я ее, паскуду крашеную, сейчас напудрил. А этого гада в тюрьму засажу!

— За что засадишь-то? Не судят за это.

— А я не за это. Я за другое. Ты думаешь, прошлый раз кто лошадей потравил артельных? Он!

— Врешь, Трифон!

— Сам видел!

— Видел, а почему молчал? — Кузькин быстро поднялся и, не стесняясь Рублева, стал торопливо и нервно пристегивать протез.

— Боялся. Его боялся!

Кузькин побагровел и крикнул так, что Мария мелко закрестилась.

— А сейчас не боишься? Говори, как видел!

— Скажу. Вечером баба куда-то бусая ушла. А потом Осьмухин засобирался и тихохонько задами на артельную конюшню пошел. Я за ним, а он, как кот, на сенник полез. Ну, думаю, тут я вас и накрою. Вилы припас. Порешу сразу обоих. А он с сенника спустился, веточку из-за пазухи вынул, положил в ясли, где сено, а потом лошадь за повод взял, башку ейную высоко закинул и из бутылки в глотку питье стал лить. Бутыль эта у нас в подполье стояла.

Иван говорил, что там лекарство для артельного скота. Потом было к лесенке побежал, чтобы подняться, но вернулся и давай шастать по стойлам. А когда комиссия приехала, ветеринар сказал, что пали кони, потому что в яслях вех был.

— Врешь, Трифон. Не может этого быть! Не верю! — крикнул Кузькин, хотя уже и не сомневался в правдивости слов отчаявшегося Рублева.

— Не вру. Бутылка и сейчас в погребе!

— Пустая?

— С варевом! Давно с варевом!

— Где варили?

— Не у нас. Узнал бы. Старик Куцев с сыном Авдюшкой около Ивана все трутся.

— Ну смотри, Трифон, если что не так! Пойдем!

Мария встала в дверях, готовая сжечь Трифона ненавидящим взглядом.

— Не пушу! Больной он! Не ходи к ним сгоряча, Алеша. Чумные они.

— А что они мне сделают? Кругом Советская власть. Раньше боялись, по углам прятались, а сейчас и подавно. Пошли!

По-другому горячий и безрассудный Алексей Кузькин не умел поступить.

У Куцевых играли в карты. Осьмухин в нательной рубашке, потный и квелый от ядреного печного жара, и хозяин дома, такой же вялый, разморенный теплом, лениво шлепали по столу засаленными картами, потягивая самогон, а младший Куцев, единственный сын Филиппа Варфоломеевича, щеголеватый, тупой и вечно пьяный Авдей, здесь же за столом, скучая, гонял в пустой тарелке палочкой двух черных тараканов. Кузькин никогда еще не был в этом доме, и внезапное появление его в предвечернее время, в пургу, не на шутку обеспокоило всех. Осьмухин и Куцев засветились искусственной радостью, повели к столу председателя, а Авдей тенью шмыгнул за печку, так что гость и не заметил его.

— Не обессудь, председатель, что у меня по-простому, — лебезил старый Куцев, — который год без старухи, с Авдюшкой. Но хорошим гостям мы всегда рады. Проходи к столу, председатель!

— Вижу. Радовался мерин коновалу, — он отодвинул подставленный ему Куцевым стакан и, испытующе глядя на Осьмухина, полез в карман шинели.

— Спасибо за угощение. Я к вам со своей...

И, поставив на стол черную бутылку, извлеченную из погреба Рублева, добавил:

— Это покрепче будет, а? Угощайтесь!

На какое-то время в избе наступила такая тишина, что стало слышно, как на печке шуршат тараканы, а в теплых сенцах возится щенок.

— Мы городскую не пьем... — чужим голосом просипел Осьмухин.

— Ты же знаешь, что это не городская, Иван Тарасович. Городской вас в городе покрепче попотчуют. Угощайтесь же!

— Да ты что... Господь с тобой, Алексей Васильевич, — Осьмухин отвел глаза от бутылки и стал быстро катать по столу хлебный шарик.

Куцев тоже сообразил, в чем дело, крикнул с досадой, но попытался взять себя в руки, мелко засмеялся. Глядя на него, глупо хохотнул Осьмухин.

— А ведь вам сейчас не смешно, а? Хватит пьесы разыгрывать. Кончилась игра.

— Какая игра, председатель! В гости пришел и ругаешься... Выпили бы по-товарищески, по-станичному, да разошлись с миром...

Кузькин сунул бутыль в карман и молча пошел к порогу. Взявшись за дверную ручку, он обернулся и сухо сказал:

— Устал я уже с вами в кошки-мышки играть.

Когда за ним закрылась дверь, старый Куцев отпил из стакана и с ненавистью произнес:

— Так... кошки-мышки... Рублев, сука, донес. В окошко видел, как он в председателеву сторону бежал, пьяный. Эх, не подумал тогда зачем! Авдюшка! Иди-ка, курвец, сюда! Под носом взошло, а в голове не засеяно! Теперь всем кишки на кулак из-за тебя намотают! Сто раз было говорено, не связывайся с рублевской дурой. Не расколупывай Трифона! Раззудил его, а теперь што?

— Уходить надо, — шепотом сказал Осьмухин.

— Далеко ли уйдешь! Завтра кандалы привезут!

— Здесь рядом. И пурга кстати. Собрано же все на такой случай.

— Значит, секретарь, не зря я тебя насчет веха-то тогда, а? — уничтожающе усмехнулся Куцев. — Судом грозился... Небось все из-за своей девки воевал? Дескать, прижму хуторских так и эдак — прибежит. Из-за нее?

— Из-за нее...

— А в одиночку, парень, только до ветру ходят, — наставительно и с огорчением сказал Куцев. — Спугнули Ясный день, а рано. Казаки из соседней станицы не подошли.

— Уходить надо... — повторил Осьмухин.

— Ясный день так оставлять нельзя. От него весь звон. Сегодня и нагонят... — сказал виновато молчавший до сих пор Авдей.

— Тогда беги! — приказал Куцев. — Только чтоб все тихо. На деревяшке он не так далеко ушел. В сугроб потом закатай поглубже, слышишь? Пока спохватятся, наш след уже простынет...

— А Маруська! Она же прямо сегодня зашумит!

— Маруську нельзя. Вдова казачья...

— Тогда и председателя смыслу нет...

— Э! Все одно, что грешный, что праведный! Только поспешай. Мы подождем.

Авдей сдернул со стены охотничий нож, бросив деревянные ножны к печке, сунул его за голенище ичига и, натягивая на ходу полушубок, выскользнул на улицу.

В ту пору в Приамурье то тут, то там чадным огнем вспыхивали кулацкие мятежи. Их решительно гасили, но как и на любом пожаре, искры от пламени могло занести ветром куда угодно. Потому в местах предполагаемого пожара так же решительно люди выдергивали из земли горючие сорняки — высылали подальше наиболее богатых, озлобленных и несогласных с Советской властью.

Все было учтено, все взвешено в доме Филиппа Куцева, все приготовлено на тот случай, когда ничего не останется делать, как бежать за кордон. В сарае, тщательно упрятанные, лежали камуски, охотничьи ружья с припасом, туго увязанные заплечные мешки с харчами и золотишком. Этот случай приспел. Алексей Кузькин опрометчивым своим поступком решил судьбу Куцевых и Осьмухина, свою судьбу и судьбу многих других людей.

Когда, раздувая ноздри, пряча под рыжими бровями одичавшие глаза, в избу вернулся распаленный Авдей, Куцев и Осьмухин уже сидели под образами в полушубках, подпоясанные патронташами, готовые в любой миг сорваться с места.

— Все ли ладно, Авдей?

— Все как надо.

— Ну, тогда с богом!

Каждую дикую тропочку далеко окрест знал опытный зверовщик Филипп Куцев. Сколько раз уходил в таежную глухомань с сыном Авдеем за кабаном и лосем. Уверенно повел за собой банду по берегу реки к безымянному и спасительному острову. И в военных хитростях был мастак участник империалистической, фельдфебель Куцев. Боевое охранение за собой оставил: опять же сына — осторожного и беспощадного Авдея.

Не поспешил бы Прохоров, сдержал бы свой азарт на какую-то минуту, по-другому сложились бы дела его товарищей. Выскользнул он из засады на лыжню, проложенную перебежчиками, вскинул ракетницу и в холодном всплеске огня услышал оглушительный и острый

грохот под самым сердцем. Упал лицом в снег и, затаившись, почувствовал, как бандит вытирает нож о его шинель. На мгновение унял бы свое боевое нетерпение Прохоров, и не лежать бы ему под дерновым одеялом у стен заставы, и у Дмитрия Каленова судьба сложилась бы несколько иначе, как хотел он, как желали Настя, Лука Павлович, да и, наверно, все, кто знал и любил его...

Потрясенный гибелью Алексея, Никита Гудков примчался в станицу и остался здесь насовсем. Партия рекомендовала Никиту в председатели колхоза «Ясный путь». Так в память Алексея Кузькина называли люди реорганизованную артель. Только сейчас Никита Гудков искренно просил Каленова стать помощником. И его можно понять. В новом, трудном деле нужен был Никите человек, на которого можно положиться во всем. Но Каленову была уготовлена другая дорога.

Когда они подходили к хутору, еще издали увидели, что на завалинке дома сидит, склонив седую голову, Лука Павлович, а рядом с ним военный человек. На дороге, совсем чужая и непривычная здесь, стояла открытая легковая машина.

Гудков остановился, взял Каленова за локоть.

— Слушай, Дмитрий, это же чекист... — произнес Никита озадаченно. — Зачем бы он?

Волнуясь, они подошли, поздоровались. Военный, немолодой уже, со «шпалой» в петлице, перехлестнутый новенькими ремнями, приветливо улыбаясь, пожал руку Дмитрию, затем Гудкову. Лука Павлович смотрел на внука грустно и, как показалось, осуждающе, отчего Дмитрий с острой тоской почувствовал неладное.

— Как ваше здоровье, Дмитрий Степанович? — спросил военный.

— Ничего себе... поправился.

— Ждете демобилизации?

— Конечно. Мой возраст давно уже демобилизовался...

— Понимаю... Мы тут с Лукой Павловичем обо всем переговорили. Нужны вы дома...

Военный никак не мог начать разговор, ради которого приехал на хутор, и Дмитрия начало охватывать раздражение. «Говорил бы уж сразу! Чего ходить вокруг да около!»

— Я приехал к вам из пограничного штаба, Дмитрий Степанович. Хочу просить вас на некоторое время вернуться на свою заставу. Пришли молодые бойцы. Учить их надо. А опытных пограничников у нас недостает.

— Какой же я учитель...

— Вы хороший боец, Дмитрий Степанович. Будете хорошим командиром.

— Дома у меня видите сами как... Дед старый совсем. Ребятишки. На земле некому работать. А кормит нас земля...

— Знаю. Но это ненадолго. Семью вашу поддержим кое-чем. Лес для дома привезем. Колхоз обяжем помочь...

Дмитрий молчал, переминаясь с ноги на ногу, вздыхал дед. Гудков, пытаюсь закурить, сыпал на землю махорку.

— Так уж складывается, Дмитрий Степанович. У нас еще много врагов. А мужчины должны защищать свой дом. Лучшие мужчины всегда на передовой. Скажем, даже ваши друзья и знакомые — Владимир Усольцев, Петр Крохалев, Алексей Кузькин, наконец, вот товарищ Гудков, — военный улыбнулся и даже, кажется, подмигнул. — А ваш отец, Степан Лукич Каленов?

— Откуда вы знаете?

— Мы обязаны все знать, Дмитрий Степанович... Учить надо молодых пограничников, чтобы побольше там было Прохоровых и Каленовых, а поменьше Мурзиных. Кажется, у вас там в секрете могло получиться все иначе, если бы Мурзин стрелял пометче и получше маскировался. Значит, не научили...

Последние слова прозвучали как упрек. «А ведь правильно все говорит... Я сам кое в чем виноват. Хотел все потрафить Мурзину. Мишень вместо него пристредивал, поблажечки делал разные. А вот как обернулось...»

Он поднял глаза и увидел, что на крылечке дома с Васяткой на руках стоит Настя и смотрит на него, как и дедушка, грустно и осуждающе. Он вновь потупился. «В чем же виноват-то я, Настенька!» Хотел возразить со всей решительностью военному, но его опередил дед:

— Конечно... Понятное дело. Трудно все время из огня да в полымя. А как откажешься?

Память

По проселочной дороге, скучной, с рыжими проплешинами обнаженной земли по обочинам, шел человек.

Начальник железнодорожного тупика Березовая горка Петр Скиднев давно уже заметил человека, из окна следил за ним и равнодушно размышлял, что, видно, важное дело заставило идти по раскисшей дороге, к тупику, семь верст киселя хлебать в такую рань.

На перроне еле слышно поскрипывал старый динамик. Скиднев отметил, что голос у диктора будто встревоженный и музыка торжественная, но эта мысль, не разгоревшись, потухла. «Праздник какой-то... Много сейчас разных праздников...» Потом Скиднев вдруг подумал, что человек на дороге может быть почтальоном из колхоза «Ясный путь» и несет он ему, Скидневу, письмо или телеграмму.

Скидневу было тридцать четыре года, из которых последний год «по несправедливой воле начальства», как он считал, провел здесь вот, далеко от города, в железнодорожном тупике.

Только раз-два в неделю, без всякого расписания, торопливый паровозик пригонял сюда несколько вагонов с грузами для окрестных сел — с удобрениями, лесом и продовольствием, а на остальное время все здесь засыпало вокруг — зимой в снежных заносах, летом в дремотных от жара зарослях одуванчика и полыни.

Скиднев раньше работал на городской железнодорожной станции дежурным, но повысили его в должности, сделали начальником тупика. Начальником по названию, а на самом деле и весовщиком, и стрелочником, и составителем, так как под началом у него никого не было.

Жена в тупик ехать наотрез отказалась, и жил Скиднев один, с отчаянием выжидая, когда начальство вернет его в город. Вот почему осенила его вдруг надежда, что несет ему почтальон это долгожданное сообщение.

Но чем ближе подходил человек, тем скучнее и разочарованнее становилось лицо Скиднева. Узнал начальник тупика колхозного пасечника Дмитрия Степановича Каленова, человека непонятного, неразговорчивого и несимпатичного для него.

Лицом Каленов старик стариком. Высокий лоб его и щеки так изборозждены морщинами и шрамами, что кажется, будто кто-то неразумный и злой глумился над каленовским лицом. А волосы из-под его старенькой кепочки озорно выбиваются с молодым блеском — русые и густые. Но когда снимет Каленов кепку, увидишь, будто снежный валок через зрелое пшеничное поле, через всю голову седой локон.

Каленов по-старчески сутуловат, вроде бремя тяжелое несет, но в плечах завидно просторен и на ногу молодо крепок. Глянешь на руки с широкими, прямо каменными от непроходящих мозолей ладонями, с крупными набрякшими жилами на тыльной стороне, и озадаченно подумаешь, как такими несуразно тяжелыми и неловкими руками человек умудряется управляться с нежными и юркими пчелками.

На слово тоже не щедр Дмитрий Каленов. Больше слушал, что собеседник говорил. Если слова были значительными, то блеклые, цвета зимнего неба, глаза загорались интересом, но сразу же гасли, как только за крупным словом начинал тянуться песок и щебень.

Скиднев отвернулся от тусклого оконца, поскреб шею, сердито ткнул сигаретой в переполненную пепельницу. «Мрак, — тоскливо подумал он. — И подарит бог собеседника!»

Скидневу просто необходим был человек, с которым поговорить бы по душам, выплакаться... Безвольные люди не могут без того, чтобы не поплакать у кого-нибудь на груди, а старик Каленов будет молча сидеть напротив, глядеть, как ты выворачиваешься наизнанку. И не сразу поймешь, что у него на уме. И не только несимпатичность Каленова раздражала начальника тупика, но и непонятность поступков. Дом у него на хуторе большой, живет старик крепко, усадьба ухоженная. Говорят, пенсию приличную получает, заслуженную еще на фронте, дети помогают... Да и много ли надо со старухой? А нет, топчется день-деньской скучный человек, работает до седьмого пота на колхозной пасеке, растрачивая последние силенки. А для чего, собственно? Интересы у старика ограниченные, папиросы в рот не возьмет. Может быть, кубышка у него где-нибудь зарыта? Старики часто заболевают страстишкой к накопительству. Так оно и есть, наверно, на самом деле.. Никакой дурак не ста-

нет работать, если нету смысла в работе. «Пасека — это медок, а значит, левый приварок к зарплате. Сам себе на уме старик — это факт!»

Разгадав таким образом сущность Каленова, Скиднев успокоился, но на какую-то минутку, потому что новая мысль заставила усомниться в своей догадке. Каждую осень и весну Каленов придумывает для себя и для жены работу, которая определенно никакого приварка не дает. Вот и сейчас, наверно, спешит в тупичок, чтобы узнать, не пригнал ли паровозик из города платформу с саженцами липы и сосны. В городском лесопитомнике у Каленова товаришок работает директором, вот он и дарит два раза в году такие странные подарки.

Старик безвозмездно, с непонятной радостью и бережливостью вывозит саженцы на хутор и высаживает их вокруг пасеки — ближе липы, а дальше, по склонам оврагов — сосенки. Те сосны, которые он посадил первыми, выросли уже так, что до вершинки рукой не достанешь, а посадил он их не крупнее помидорной рассады. Зачем ему это? Если лесоустройство, как сейчас говорят, его хобби, то это еще более странно, потому что ни ягодки он со своих деревьев не снимет. Липы куда ни шло, для пасеки самое подходящее дерево, хотя не дождется Каленов, когда зацветут они и принесут хоть стакан меда. А сосны? Разве старик не знает, что сосны растут по сто лет и больше? Старческая глупость — заниматься таким тяжелым и бесполезным для него делом! К чему он придумал его для себя — не понять.

Скиднев сплюнул на печку сигаретную горечь и, взглянув в окошко, увидел, что старик Каленов шагает уже по перрончику, поглядывая по сторонам на пустующие рельсы, на грязный подтаявший снег, скопившийся между шпалами. Надо было выйти навстречу, в помещении накурено, хоть топор вешай, но Скиднев, приняв деловой вид, стал ворошить бумажки на столе. Потом почувствовал, как со стариковской бесцеремонностью Каленов заглянул в оконце, услышал, как вытирает ноги в сенцах.

— А! Дмитрий Степанович! Здорово! — поприветствовал вяло старика.

— Здоровы были.

— Небось за саженцами снова?

— За саженцами рано. К тебе пришел.

— Ко мне? — Скиднев неподдельно удивился: «Зачем бы идти с хутора ко мне старому Каленову?»

— По-соседски пришел... — пояснил Каленов.

— Далековато, однако...

— Ничего... Время у меня есть.

«Заскучал он, что ли? — недоумевал Скиднев. — Так в деревню-то за весельем ближе. К тому же и магазин там есть. И по пустякам вроде бы никогда не приходил он ко мне... Странно!»

— Ну, что ж. Гостей встречать надо... Только у меня в доме хоть шаром покати. Ничего, кроме водочки да куска сала.

— Можно и водочки с салом.

Скиднев пожал плечами: «Вот те и на! Не пьет ведь!»

Он сходил в соседнюю комнату, где жил, принес водку в зеленой бутылке, хлеб, сало, огурцы, сдвинул бумагу в сторону. «Не просто он пришел, а зачем — не понять... Выпьет — расколется. Водка камень заставит расплакаться...»

— Дымокур тут у тебя... — заметил старик.

Скиднев не ответил, разлил водку и одним махом с отвращением выпил, потому что пил вчера в одиночестве. Каленов свою водку выпил медленно, как воду, стал неторопливо жевать, поглядывая на Скиднева, будто изучая его. Динамик на улице заскрипел, внезапно выплеснул музыкальную фразу марша, торжественно-печальный голос диктора и так же внезапно смолк.

— Праздник сегодня какой или так просто? — показал глазами на окошко старик.

— Теперь каждый день даты отмечают. То победу на Курской дуге, то Сталинградский котел, то мешок, то клещи, — тыча вилкой в огурец, брюзгливо ответил Скиднев.

Старик потемнел глазами, с пристальным любопытством посмотрел на Скиднева и чуть не выдал себя. Давно его беспокоило точила мысль, что Скиднев — узколицый, с мелкими чертами лица, с глазами глубокими, посаженными близко друг от друга, — неприятно напоминает кого-то. Сколько времени знал он начальника тупика, столько беспокоило его чувство беспомощности разгадать трудную загадку. А сегодня ночью увидел он, как показалось ему, вещий сон, даже не сон, а горькую явь, отчего проснулся с сильной болью в груди. Надо бы

отлежаться Дмитрию Степановичу, жена просила не ходить из дому, — с сердцем шутки плохи, — но не послушался, пошел к тупичку, преодолевая опустошающую слабость. Нужно было срочно выяснить для себя дело безотлагательное и чрезвычайной важности.

Много лет назад, на фронте, где служил старшина Каленов, появился человек, встречи с которым он никак не ожидал и не желал. Давным-давно забыл про этого человека, будто никогда и не было его на свете, и вдруг, как с того света, возник Кошкин-Скоба, изрядно потрепанный, постаревший, но не утративший хищной гибкости и живучей цепкости. Каленов тогда сидел в своем блиндаже-каптерке, чистил автомат и по шелесту плащ-палатки, прикрывающей вход, понял, что в блиндаж вошел кто-то.

— Товарищ старшина, разрешите обратиться! Рядовой Кошкин прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы!

Сжалось все внутри у Каленова, но виду не подал, спросил глухим голосом:

— Откуда?

Кошкин молчал, потрясенный и разочарованный не менее Каленова.

— Откуда, спрашиваю?

— Призывали в Свободном, зачислили в четыреста двадцать вторую. Сейчас из-под Жеребцовки.

— Идите!

Кошкин, точно убегая, выскользнул из блиндажа, а старшина, сжав голову руками, задумался. Кошкина, выходит, призвали вместе с ним и направили в Дальневосточную стрелковую дивизию. Мог бы он, скажем, встретить этого человека у себя на Дальнем Востоке? Мог бы. Значит, нет ничего невероятного в том, что он встретил его здесь. Земляки! На войне все может случиться... Никита Гудков командует ротой, где Каленов служит старшиной. Кто знает, кого еще доведется увидеть.... Просил Гудкова, когда увидел среди прибывшего пополнения Кошкина, избавиться, дескать, надо от этого сволочного человечки. Не слушал Гудков.

— Не могу я этого сделать, Дмитрий Степанович. Не имею права. Мы-то знаем, что он сука, а в других подразделениях этого не знают. Смекаешь, как может обернуться дело?

— Смекаю. Но ведь служил же он где-то до нас?

— А тебе известно, как служил? То-то! Держи ушки на макушке — и все.

Не соглашалось сердце, но делать нечего. Как сказал Гудков, так, значит, лучше. По крайней мере, лучше для тех, кому не доведется жить бок о бок и вос-
вать рядом с Кошкиным.

Не обмануло сердце. Кому-то, может быть, и повезло от мудрого решения командира разведроты, но расплатились за это его же солдаты, его товарищи. Кровью и телом заплатили, своей судьбою. На войне часто сам становишься хозяином и властелином многих человеческих судеб, и твоя судьба оказывается неведомо в чьих руках...

Сегодня разбудил его черный образ Кошкина, возникший так же внезапно, как тогда, на фронте, но уже в более мерзком качестве, потому что знал о нем Каленов значительно больше. Содрогаясь всем существом, Каленов смотрел свой страшный сон или, лучше сказать, явь, и вдруг отчетливо и трезво стал понимать, что Кошкин и не Кошкин вовсе, а Скиднев! Такой же узколицый, с глазами, осторожно обшаривающими тебя по каждой складочке, по каждому шву.

«О, господи! Чушь какая-то! — думал во сне Каленов. — Кошкин уже древний старик, если только жив, а этот молодой. Но ведь похожи! Как две капли воды похожи!»

Вот почему так рано, преодолевая слабость, пришел он сегодня к Скидневу. Думал, поможет водка преодолеть недомогание. Да и другой расчет был у него, такой же, как у начальника тупика: «Заставит она развязать язык, парень, твой, а я быстрее разберусь, что к чему».

Выпили они еще по разу, боль в груди, с которой он пришел, стала потухать, хотя по всем жилочкам разлилась слабость. Но все равно веселее от мысли, что Скиднев разговорился.

А тот заметил сурово потемневший взгляд Каленова, осекся, сообразив, что бывшему фронтовику нельзя в таком тоне говорить о праздниках, которые стали для него святыми. «О таких вещах с ним надо деликатно». Добавил:

— Много нынче разных праздников, и военных, и гражданских, и по профессиям...

— Народ заслужил их, вот и празднует! — Каленов попытался сказать как можно дружелюбнее, не хотел спугнуть собеседника, но все равно получилось у него враждебно и наставительно. Скиднев залебезил:

— Это конечно... Вон у тебя-то по лицу видно, что заслужил.

Скиднев разлил остатки водки по стаканам, но Каленов не стал пить.

— Больше фронтовой нормы не пью.

Скиднев хмыкнул невразумительно, бесцеремонно слил каленовскую водку в свой стакан, выпил и, хрустнув огурцом, сказал насмешливо:

— Каждый должен выпить свой бочонок, старина. Еще на войне, наверно, хлестанул и пустой откатил, а? Нету больше войны, а законы ее блюдешь. Почему?

Старик не ответил. Он еле сдерживал себя, чтобы не ударить по столу кулаком, так омерзительны были для него и скидневское набрякшее пьяной сизостью лицо, и какие-то скользкие слова, будто лягушки выпрыгивающие из него. Войны давно нет, а тот, кого ранила она, обожгла, не станет вот так легко и походя говорить о ней, потому что память о войне, как суровый бог за плечами, перед взором, в каждой кровиночке. Он уже почти не сомневался сейчас, что человек, сидящий перед ним, имеет прямое родственное и духовное отношение к Кошкину-Скобе. «Кажется, и новый такой же народился... Повторяются на земле облака, яблоки, галька на берегу речки. Неужели и люди могут повторяться?»

— Из твоих-то родичей кто был на войне? — спросил он и затаил дух.

— А кого там не было?

«И правда... Совсем глупый вопрос задал...»

— И отец, наверно, воевал?

— Нету у меня отца.

— Не дух же свят из глины тебя слепил...

— Был вроде отец... Пропал без вести. Не помню его. По фотокарточке только знаю.

— Есть она у тебя? Покажи. Дальневосточники, в основном, вместе воевали. А вдруг знаком?

Скиднев засмеялся:

— Вас там тысячи было. А если и встречал, то через столько лет разве узнаешь?

— Иногда запоминаются люди... — сказал уже спокойно Каленов, а сам подумал: «Узнаю! Через тысячу лет, в могиле узнаю!»

Скиднев достал из столешницы синий потрепанный скоросшиватель, стал небрежно, как карты, тасовать пожелтевшие фотоснимки стариков, старух, молодых женщин, ребятишек. Каленов смотрел на руки Скиднева и думал сердито, что так равнодушно можно перебрасывать заплесневелую ненужную рухлядь в старом сундуке, что даже рублевые бумажки руки трогали бы уважительнее и бережнее. А ведь это все близкие ему люди, видно, по делам или по крови! Доведись, этот человек и судьбы людские будет тасовать с таким же равнодушием, похожим на отвращение. «Повторяются люди!»

— Вот! Нашел все же я своего предка! — протянул Скиднев фотокарточку на пожелтевшей жесткой картонке.

На подбористом, в крупных яблоках коне, перехлестнутый ремнями, с шашкой на боку и в буденовке гарцевал худосочный человек. И рысак с картинно выгнутой шеей, и шашка, и сапоги с ослепительным блеском — все было нарисованным, ненастоящим. Только лицо из дырки холста выглядывало, чуть похожее на кошкинское.

«Нет, не он!» — подумал Каленов и не почувствовал от этого облегчения. Он колюче смотрел прямо в глаза человеку на фотографии, долго смотрел, пристально, отчего рядом беспокойно завозился Скиднев, и память, как острая молния, осветила вдруг прошлое — пахнувший мышами трюм «Азии», корейский кабачок, шахты и самое страшное, что никогда не может забыться, — фронт, июльский душный день сорок второго на Дону, у станции Тундутово.

Скиднев почувствовал что-то недоброе в немигающем взгляде, в напряженной позе старика, в его окаменевшем, бледном лице, еще более уродливом, потому что на бледности контрастнее обозначились багровые шрамы.

— Ну, что молчишь-то? — осторожно и волнуясь спросил он. — Может быть, признал?

— Подожди... Дай воды. Сердце...

Скиднев кинулся за водой, а когда принес ее в жестяном ковше, старик сидел, откинувшись к стене, пожелтевший, с полузакрытыми глазами, безмолвный. Ему бы-

ло плохо, сердечный приступ убивал его. Но Скидневу не терпелось, так был встревожен поведением старика, и он спросил:

— Ты что... Признал, что ли?

Каленов не стал пить воду из ковша, с какой-то ненавистью оттолкнул, еще с минуту посидел, затем, положив вниз лицом фотокарточку, поднялся и, не глядя на Скиднева, пошел к двери.

— Нет. Не знаю такого.

Он вышел на перрон, а Скиднев недоуменно пожал плечами, подозрительно прищурился и пошел следом.

— Куда же ты, а?

— Домой, — не оборачиваясь, ответил Каленов.

Озадаченный начальник тупика смотрел, как удаляется непонятный старик. Вот он прошел палисадничек, шагнул было с бетона на дорогу, потом, схватившись за грудь одной рукой, стал оседать набок, размахивая в воздухе другой, будто отыскивая опору.

Легкого и безжизненно-вялого Каленова Скиднев боязливо поднял с земли, принес к себе в комнату, распахнул окно, кинулся к аптечке, но никаких лекарств, кроме йода, там не увидел. Он был всегда здоровым, Скиднев, и в лекарствах не нуждался.

— Как же ты так вдруг-то? — с удивлением произнес Скиднев, но старик был в глубоком забытии.

Он слышал, как бережно и нетряско везут его в кузове машины, будто не его везут, а кого-то другого, он со стороны уже смотрел на себя, как внесли его в очень теплое после улицы помещение, пахнущее лекарствами, как уложили на прохладные простыни, слышал встревоженный шепот людей, чувствовал присутствие дочери Шуры и жены Анастасии Андреевны. Он даже какую-то секундочку видел их рядом, печально озабоченных, и понял, что жить ему осталось недолго, что многочисленные и почему-то безболезненные уколы, больничная суэта вокруг — ничто не в силах поставить его на ноги. Пришла и ему пора навсегда лечь под какую-то елочку на Ягодной горке, как легли в свое время многие из его близких: мама, Лука Павлович, Кузькин.

Дмитрий Степанович услышал вдруг в груди частый-частый стук сердца, а в ушах торопливый перезвон тревожных колокольчиков. Будто из своего детства услышал он пение станичного церковного колокола, удары

которого становились все реже и реже. В больших промежутках между ними неудержимым ручейком стала уходить из него жизнь.

Заметался Каленов отчаявшимися глазами.

«Не успел сказать напоследок очень важного!» Это увидели и дочь, и жена, и немолодая, суровая медсестра. А он словно издалека слышал голоса. И смерть, будто испугавшись их, отступила. Разбежавшийся было всю ручеек стал утихать и остановился, спрятавшись под сердцем. Как в глубокую и теплую воду, он погрузился в полузабытье, оставшись один на один с самим собой, все время чувствуя в себе затаившуюся смерть, радуясь тому, что не смогла она нанести своего последнего удара.

Шура склонилась над ним. Он даже дыхание ее слышал и лицо ее представил — широкоскулое, с лукаво-упрямыми, а сейчас озабоченными глазами, не его, каленовское лицо и не Анастасии Андреевны, а лицо репкинского, потому что Шура была дочерью Августа Репкина.

Перед внутренним его взором поплыли картины прошлого. Там было мало радостей, больше горечи, но он радовался этим видениям, потому что переживал все заново.

Мятущаяся память перенесла его в сорок первый. Он вместе с другими бойцами-дальневосточниками едет на фронт. Из колхоза «Ясный путь» тогда призвали троих — председателя колхоза Никиту Гудкова, беспечного говоруна кузнеца Федьку Куцева, он приходился каким-то дальним родственником тем Куцевым, что давно бежали из станицы, и его — Дмитрия Каленова.

Собственно, старшину Дмитрия Каленова призвали не из станицы, а из воинской части — там он проходил томительно затянувшуюся военную переподготовку. Гудкова и Куцева он встретил прямо перед отправкой на фронт, на маленькой железнодорожной станции, где спешно формировали дивизию дальневосточников. Как только и увидел он земляков в пестро-зеленой людской массе, упругой — шагу не ступить — и огромной, как море? Повезло ему здорово! Никита Гудков, еще более могучий и ладный, в военной форме, непривычно многозначительный, с капитанскими петлицами на шинели, с белыми висками под новенькой зеленой пилоткой и по-мальчишески шумный, сгреб Каленова в охап-

ку,— а в Каленове тоже дай бог, не сито отрубей — побольше шести пудиков будет,—сгреб и закрутил вокруг себя.

— Мать честная! Да неужто Дмитрий Степанович! Господи, как я рад тебе!

— Ты бы радовался, если на хуторе или в станице у себя встретил.. С литовочкой, а не с этой штуковиной, — сдержанно улыбаясь, дернул за винтовочный ремень Каленов.

— Да, брат... Сейчас вся Россия под этой литовочкой. Видно, большая косьба будет... — посерьезнел вдруг Гудков. — Стариков, которые на завалинке шептунов пускали, и тех на сенокос!

— Как там дома-то, расскажи...

— Все нормально, подробности потом. Сейчас побегу, похлопочу, чтобы тебя в мою роту перевели. У меня старшины как раз нету.

— Быстрый какой... Не переведут.

— Почему не переведут? Ты сейчас вроде кадрового, а вас таких к новобранцам пораскидают. Жди меня тут. Федор тебе и про новости наши расскажет.

Каленов и Куцев остались сидеть в привокзальном скверике на перевернутом бочонке из-под смальца, а Гудков ушел. Глядя ему вслед, Куцев сказал:

— Здоров мужик! Здоров! Самых подходящих из станицы забрали. Бабы жаловаться хотят. Кто станицу содержать будет? Там, паря, только и остались Кешка с Микешкой да Колупай с братом. Это на всю-то бабью станицу!

— Найдутся и без тебя...

— Кто найдется? Один Репкин Август остался, да и тот косолапый.

— Не зубоскаль...

— Правду сказать, Август сейчас смурым февралем ходит. Женка у него намедни померла, а на руках — ребенок...

Глаза у Федора большие, синие, смотрит на тебя, будто топит в холодной воде.

— Как это померла?

— Ну и вопросик... Сложный. Это я могу тебе позднее сообщить, как сам узнаю. Померла — и все! Нету у него женки. Мы с председателем на станцию призываться поехали, а он с ней — на Ягодную горку.

До тех пор, пока не женился Гутька Репкин, тайно досадовал на него Каленов, носил в сердце ревнивый тяжелый груз. Репкин не перестал любить Настю. Правда, взаимности ее уже не домогался, но не скрывал, что томится непроходящим большим чувством к ней, неловко, хотя и откровенно, заигрывал с ней при случае, а то и напрямик говорил — любит!

— Дмитрий! Уважаю тебя и плохого тебе не желаю, — говорил он полушутя Каленову по пьяному делу, — но Наську все равно у тебя отобью!

Но как женился Репкин — будто отрезал! Протрезвел сразу от своей любви Репкин... «А тут вишь как случилось... Я, значит, со двора, на войну, а он холостой... Правда, моя Анастасия Андреевна не из таковых, у нее сказано — отрезано, но ведь и капля камень долбит...»

Вновь, как прежде, заныло ревностью сердце, и никак не унять эту боль!

— Вот и я говорю... — продолжил Куцев. — Дух переведет Гутька от своей беды, откроет от слез глаза, а кругом — разлюли-малина! Рви какую хочешь! Мужик он бравый, мурластый, а косолапит — только на ногу, а?

Прибежал Гудков, раскрасневшийся и довольный. Он и сам не очень верил, что сможет добиться перевода в свою роту Каленова, но просьбу его уважили без лишних проволочек.

— Ты знаешь, что мне полковник сказал, Дмитрий Степанович? Он сказал, что я настоящий разведчик, потому что учуял сразу настоящего парня. Это про тебя. Говорит, что ты и пограничник бывший, и заслуги имеешь, и дырку в горбу...

— Дырка в горбу — это еще не заслуга...

— Может, какой твой знакомый — наш командир полка?

— С начальством личного знакомства не водил никогда.

— А все же? Уж очень хорошо о тебе...

— Не знаю. Начальства я всегда робею...

— В общем, так: там о нашем брате все знают, и на этот раз хорошо, что знают. Будем служить вместе.

— Видно, всю жизнь мне свой тяжкий крест нести... — улыбнулся Каленов.

— Какой это крест?

— Какой... какой! Про тебя говорю. На тебе свет клином сошелся. Как я мальцом попал в подчинение, так до сих пор. То ты бригадир, то председатель, то командир. Не разминемся, видно.

— А это сам господь бог меня к тебе приставил на всякий случай. Тебя-то он тоже не может никак понять. Почему ты такой ровненький, спокойненький, тихий? В тихом болоте, думает господь бог, все черти. Вот меня и приставил приглядеть. Теперь я из своих лап тебя не выпущу. И не думай разминуться!

Но разминутись они очень скоро, через несколько дней, перед самым фронтом, недоумевая и страшась внезапности, с какой могут здесь убить, разлучить. Ехали на большую войну, и каждый был внутренне подготовлен к тому, что может случиться. А именно невероятная внезапность поразила, которую и осознать сразу невозможно.

Их пропыленный эшелон, до отказа набитый людьми и вооружением, стоял около полуразрушенной станции, за которой на выгоревшем пригорке лежала мертвая деревенька, давно оставленная жителями. На станции ничто не нарушало покойную тишину, серо-розовую от упавшего за горизонт солнца, пахнущую пылью и гарью. Бойцы ждали приказа выйти на передовую к Дону, оставили вагоны, ужинали, приводили в порядок немудреное свое солдатское хозяйство. Около последнего вагона рыжий парень из роты Гудкова невесело пиликал на гармошке. Стекланный звук ее, наверно, было слышно и на станции и в деревеньке, и даже за лесом, где шли бои, — так было просторно, тихо и спокойно вокруг. И вдруг этот страшный миг. Над эшелоном прогрехотал самолет, его никто не успел увидеть в серой мгле, затем прогремел взрыв, не очень сильный, приглушенный влажным воздухом, за ним — страшный человеческий вопль, стоны, паническая суeta. И все это в один миг! Люди побежали куда-то, зашумели, хотя самолет улетел сразу. Это был случайный, заблудившийся самолет врага, и у него, видно, оставалась только одна бомбочка, которую он уронил кое-как, на всякий случай... Она упала в конце состава, на кондукторскую площадку последнего вагона. И потери по военным временам были пустяковыми — двоих ранило, одного убило. Рядом с убитым всхлипывал какой-то молоденький солдатик, может быть,

и ружейного выстрела за всю жизнь не слышавший, а около вагона бегал босиком потрясенный Федор Куцев, разыскивал свои сапоги. Лицо его нехорошо исказилось, он нервно смеялся и говорил какую-то чушь про то, что в сапогах была береста для скрипа.

— Понимаешь, сам вставил бересту, сам вставил, чтобы скрипели!

В станице ходили слухи, что как-то на сенокосе Федька, чтобы понравиться девкам, вилами чуб завивал. Сунет вилы в костер, накалит, а потом чуприну на рожок! Он был форсун — Куцев — и знал цену бересте в сапогах.

Каленова поднимали на носилки, и он увидел, как санитары пронесли мимо гармониста и поверх шинели гармошку с разорванным мехом. Потом он услышал голос Куцева, жалующийся и немного хвастливый:

— Сапоги висели на площадке, сушились с портянками. Прямо в сапоги, сука, угодил!

И не собственная тяжелая боль где-то в затылке, а страшная мысль, что Куцев говорит о каких-то сапогах, что рыжего парня уже нет в живых, будто не было никогда, вдруг оборвала его сознание.

Потом, перемежаясь с глухим и неровным стуком колес, с незнакомыми, какими-то ватными голосами, перед ним возникали лица Никиты Гудкова, Насти, его мальчишек — Павлика и Васи, бойцов знакомых и незнакомых, Прохорова, давно погибшего, Федора Куцева, превратившегося вдруг в старика Куцева, выстрелившего ему в затылок, именно в затылок, потому что он все время слышал огненную боль там.

Постепенно образы людей стали складываться в картины, яркие, клочковатые и интересные, потому что сам себя он видел со стороны, будто в немом кино.

...Задыхаясь от солнечного палючего жара, он роет окопы, бежит вместе с другими, стреляя в предполагаемого противника, колет штыком соломенные чучела, поет на вечерней поверке, шагая вместе со всеми в темноте под звездным высоким небом. «Это переподготовка привиделась», — думает он ясно и снова впадает в забытие.

...С Павликом и Васей они косят траву на лугу. Вася впереди, за ним Павлик, а последним он. Мальчишкам двенадцатый год пошел. Они старательно помахивают литовочками, со вкусом, как настоящие мужики. А лито-

вочки позванивают в росной траве. Он их сам смастерил в кузне Августа Репкина. А неподалеку Настя стоит, связанная белой косынкой, улыбается, глядя на своих мужиков, и лицо у нее, и руки — бархатно-коричневые, под цвет ласковых глаз...

...Вместе с Никитой Гудковым и Крохалевым едут они на шахты в компании беспечных и горячих парней. Поезд постукивает в такт их горластой песне, и теплый ветерок, как дыхание человека, нежно обвеивает лицо. Крохалев как-то приехал в их колхоз. Он начальник шахты, и у них нет крепежа. К Гудкову, к председателю приехал. «Может, колхозники заготовят зимой шахтный крепеж? Вон сколько молодого леса кругом!» Они сидят вместе в доме Никиты, пьют чай, и Каленов не может насмотреться на Крохалева, хотя ничего красивого в нем нет. Высокий, с впалой грудью, постаревший и с утомленными глазами... Кузькин, рядом с ним и Мария... Почему они рядом? Их же давно нет! Снова ветерок касается лица, и он жадно хватая ртом свежий ветер. Это он в шахте, в забое, с Усольцевым погибает под породой... Воздуха! И он начинает понимать, что это дыхание человека, склонившегося над его изголовьем. Каленов открыл глаза и и снова испуганно закрыл их. Ему показалось, что он увидел Нину Кошовкину. «Откуда здесь быть Нине!»

— Плохо тебе, Митя?

Это голос Насти, реальный, как дыхание человека у изголовья. Он представил или увидел — не знает — ее утомленное, постаревшее лицо и удивился. Анастасия Андреевна всегда выглядела на зависть крепкой и молодой. «И зачем она спрашивает? Знает, что не отвечу... Хорошего мало».

Поезд снова торопливо уносит его куда-то, тело становится невесомым. Он пытается понять, что происходит на самом деле, а что рождено болезнью. А поезд бежит и бежит в туманную гарь, пахнущую хлороформом и отстрелянными патронами...

— Плохо тебе, Митя?

— Нина?

— Мы с тобой в одной дивизии. Здесь я хирург.

— Куда теперь меня?

— Не надо говорить. Наговоримся еще. Я завтра приду к тебе...

В госпитале, который когда-то был красивым детским санаторием, он так и думал, что прибрeдилась ему Нина, не может быть такого на самом деле, столько лет не виделись, кажется, совсем потеряли друг друга — и на тебе! «Не надо думать об этом», — решил он, потому что голову занимали другие, более серьезные и больные мысли.

Лечение его подходило к концу, со дня на день он ждал отправки на передовую, и настроение у него в эти последние дни было прескверное, потому что осточертел госпиталь, хотелось в свою роту, к Гудкову. А тут еще письмо из дому получил, которое вконец испортило настроение, растревожило. Настя писала, что трудненько стало жить, много работает и в колхозе и дома. Еле управляет. А тут Август Репкин попросил ее помочь присмотреть за его дочкой Шурой. Девчонка несмышленная еще, а в артели с каленовскими ребятами ей будет лучше. Как откажешь человеку в такой беде? Репкин помогал ей продуктами, и сеном, и дровами, ни с чем не считается... «Значит, артель... — думал Дмитрий. — А в артели все общее — и заботы, и стол... Может, и постель у них там стала уже общей?»

Никогда у него не было повода вот так думать о Нас-те. Жили они всегда ладно. Настя у него серьезная. Но ведь горе людей сближает, а вода и камень долбит... Гутька же ловкий мужик, за Настей не устал бегать!

Он сидел на берегу реки, погруженный в ревнивые мысли, не замечая ничего вокруг. У ног тихо плескалась река, где-то неподалеку спорили мальчишки-рыбаки, звенели в лесу пичуги — все так напоминало его родной хутор. Он просто физически страдал и от одиночества, и от Настиного письма, и оттого, что еще не скоро вернется домой, а может быть, никогда не вернется уже...

Вдруг кто-то закрыл ему глаза маленькими теплыми ладошками. Кто же это мог быть? С сестрами и санитарками, как некоторые шустрые из выздоравливающих, он не вступал в такие отношения, чтобы кто-то мог играть с ним в жмурки, однако женщина (то, что это была женщина, он не сомневался) крепенько держала ладошки на его глазах и прерывисто дышала около уха. И в этом дыхании он почувствовал вдруг неуловимо знакомое и волнующее.

— Нина!

— Узнал! — удивилась она и обрадовалась. — Как же ты сразу узнал меня?

Она почти не изменилась, только разве пополнила чуть-чуть (или это военная тяжелая форма сделала ее такой?) и от глаз к вискам, чуть тронутым сединой, побежали тонкие лучики. Это была прежняя Нина с доброй улыбкой, с молодыми голубыми глазами. Он смотрел на нее молча, растерявшись от неожиданной встречи.

— Здравствуй, Митя...

Он все смотрел на нее, от волнения не находя силы ответить.

— Здравствуй! — повторила она.

— А я думал, что в поезде ты мне причудилась...

— Я тоже так думала. Странно все это. Правда? Если бы не война, не увидеться бы нам, да?

— Ты почему здесь, в госпитале?

— Привезла раненых и за медикаментами. Отсюда поедем вместе. Я только сейчас от начальника госпиталя. Тебя выпишут. И Гудков сказал, чтобы без тебя не приезжала... Просто не верится, что это ты. Господи!

Она погладила его по руке и смутилась. Мимо проходил больной из каленовской палаты. Он плутовато подмигнул и, наверно, бухнул бы какую-нибудь несуразность, но вовремя заметил, что женщина в звании капитана.

— Шагай, родимый, шагай себе! — справилась со смущением Нина. И когда раненый ушел, сказала Дмитрию: — Слушай, Дим... Пойдем-ка ко мне. Мне комнатку во флигельке выделили. Здесь не поговоришь...

Он открыл глаза, обвел взглядом тесную голубую палату и увидел Анастасию Андреевну. Она сидела рядышком и вязала пестренькую варежку. Кажется, всю жизнь она вяжет внукам носки и варежки. Умаялась она. Совсем серенькая и маленькая стала. Как теперь жить-то будет. Одна остается на хуторе. Лука Павлович умер. Или к ребятам переберется?

Может быть, тысячи лет люди поддерживали жизнь на Каленовом яру, и надо же так! Он, Дмитрий Каленов, — последний огонь в очаге, последняя и слабая искорка этого огня. Только сосны и липы, посаженные и возвращенные им, останутся шуметь на ветру. Люди, ко-

торые пройдут когда-то мимо этих сосен, даже знать не будут, кто посадил их, что тут, на яру, любили, рожали детей, строили дома, полагая, что стоять они будут вечно.

А ветер времени — могучий и неистребимый, как семена с липы, перенес жизнь в другие места. Вот в чем дело! Где-то на другом яру сейчас стучат топоры, смеются ребятишки, парни девчонок целуют у речки и над избами кружатся тугие дымы. Совсем, скажем, недавно на месте, где разбросился привольно железнодорожный тупичок со служебными постройками и складами, тосковал серый пустырь. И сегодня там Скиднев, как нахотлившийся филин на суку, один-одинешенек. А может, завтра привезет он сюда жену, и начнется на той земле, от хлипкого вообще-то корня, разрастаться новая ветвистая поросль, которая со временем наберет здоровую силу. Несомненно здоровую и мудрую силу должна набрать новая поросль. Иначе на земле все погибло бы, если б только расцвели однажды порожденные зло, подлость, предательство и ложь!

В это надо верить.

Федор Куцев, щеголеватый, легкий на слово и неорганизованный с виду человек, подтвердил это своей жизнью и смертью — прямой и честной. А ведь по крови он из тех Куцевых, кто творил зло в станице, кто ножом в спину убил Кузькина и его, Дмитрия Каленова, чуть было не свел с земли...

Дмитрий Степанович спешил все пережить заново, и это было для него важнее всего сейчас, даже важнее приближения собственной смерти. Он понимал, что ничего не осталось уже в нем живого, кроме памяти, и он торопливо подстегивал ее, досадуя на то, что сбивается она в последнем рывке, и радуясь, когда память светло выравнивалась вдруг, услужливо, со всеми мелочами, спокойно рисовала ему картину минувшего.

...В раскрытое окошко дует ночной сквознячок. Спит госпиталь, и кажется, все в мире заснуло сейчас. Сонно шелестит листвою роща, под обрывом, где-то внизу, убаюкивающе шумит волною река. Луна заглянула в окошко, осветив белое плечо Нины и большие, почему-то черные, будто испуганные глаза.

— Я плакала тогда в вагоне. И сегодня тоже втихомолку плакала, когда узнала, что все хорошо у тебя. Почему так, не знаю. То, юношеское, давно прошло, потухло... Я еще тогда поняла, что не быть нам вместе. И пройдено было много, и пережито без тебя, и не по тебе страдало мое сердце. Чего уж тут... А все равно я счастливый человек сегодня, потому что встретила снова тебя — свою молодость...

— Ты замужем?

— У меня сын, Димка. Ему сейчас тринадцатый. Это твой сын.

— Мой сын?..

— А ты ничего не думай. Твой да не твой! Я ему придумала другого отца. Сразу, как он начал соображать. Отец его геройски погиб — и все. Тебя у него не было... И у меня-то, собственно, тоже не было... Ты был у Насти. Ты ее любил и любишь. Однолюб. Поддался мне, потому что слабый и... добрый. Пожалел меня и поддался. Тогда и сейчас. А мы, бабы, любим добрых мужиков. Такая уж у нас вечная потребность в доброте. Тебе Настя этого не говорила?

— Нет...

— Настя, как и ты, привыкла помалкивать? Интересно, как вы только там живете, на своем хуторе? О чем говорите изо дня в день, из года в год? Видно, сильно надо любить, чтобы не надоедать друг другу... Я, наверное, не смогла бы так. Хотя девчонкой думала: позови ты меня на свой хутор — все смогу! А не смогла бы. И Настя твоя не смогла бы, если увидела бы вокруг пошире и побольше. Вот пока ты воюешь, придет к ней какой-нибудь говорун и уведет...

— Не надо...

— Ладно, не буду. Другой на твоём месте сейчас сказал бы: дескать, ну и пускай! Я тоже не лыком шит, и мне, кроме тебя, Нинка, никого вообще-то не надо. Или не так, а?

— Помолчи...

— Не буду. Чужое краду. Хотя, может, и не краду вовсе. В такую метель озябшей бабе и у чужого костра погреться — не большой грех. Ты бы стал казнить Настю, если...

— Не надо...

— Завтра судьба разведет нас. Я — в свою палат-

ку, ты — в блиндаж. Я часто думаю там, у стола, когда беру в руку скальпель: «Не долюбил человек, не нацеловался вволю, женщину не поласкал всласть, может, ручьево́й воды не досыта попил... Молоденькие все больше... А вокруг грохот. По брезенту осколками. Страшно. Кровью пахнет. Гудков у меня был. Проходное ранение левого предплечья. Пустяк. Пришел возбужденный, а ушел мрачнее ночи. «У тебя, говорит, хуже, чем там, в поле». И правда, хуже. Потому что бухгалтерия войны — у нас в палатке. Одного — налево, другого — направо. И вообще-то вся бухгалтерия на вычитание... Уж светает, но ты не уходи, поспи, а я погреюсь около тебя...

Нина была счастливой и не могла наговориться.

...Вечером саперы принесли резиновые плотки, сооруженные из автомобильных камер, маленькие, еле способные держать на воде оружие, суточный паек и одежду. Капитан Гудков привел ротного писаря, рябого усатого дядьку из запасных. Тот забрал документы, награды, у кого они были, письма и фотокарточки, здесь же составил коротенькую опись и ушел, пожав каждому руку, посмотрел ободряюще и сочувственно.

Гудков присел на снарядный ящик, свернул самокрутку, прикурил от немецкой зажигалки-пистолетика и, хмуясь то ли от едкого дыма, то ли от собственных мыслей, сказал:

— Садитесь, друзья. Покурим, поговорим... В общем-то и говорить уже не о чем. В штабе утром все было сказано. Но я хочу добавить. Ефрейтор Сарафанов и рядовой Кошкин — охранение. Приказываю: пуще глаза берегите старшину Каленова и сержанта Куцева. У них главная задача. Большой расчет на вас у командира, друзья! Нужно вернуться. Во что бы то ни стало вернуться, хотя бы одному. Вас будем ждать завтра в три ночи. В случае чего — прикроем. Не будет получаться с «языком» — хрен с ним, с «языком»! Возвращайтесь сами. По-тихому. Все! Принайтовать к плотикам оружие, боезапас, харч и сухое белье. На это двадцать минут. Позаботьтесь о плотике старшины.

Разведчики взялись за работу, а они с Гудковым вышли из блиндажа под высокое и холодное небо, прошли

в орудийную ячейку, пустую, потому что несколько дней назад прямым попаданием немцы выбили из ячейки орудие.

— Ну вот, Дмитрий Степанович. Попрощаемся. На тяжелую работу идешь... У войны и Мишка — зять, и Никишка — зять. Всем поровну.

— Не поровну. В песне конец никудышный: «Любимому зятю Иванушке — по буйной голове...»

— Это как повезет. Ты уж смотри там в оба. В оба смотри, Дмитрий Степанович!

Эти слова не к заданию относились, а к делу весьма щекотливому. Раньше старшим разведгруппы был назначен другой человек, но, узнав об этом, Дмитрий Степанович сам пришел к Гудкову в блиндаж.

— Помнишь наш разговор о Скобе-Кошкине? Или забыл?

— Ну и что? Помню.

— На ответственное дело посылаешь с ним людей.

— Документы на Кошкина пришли. Ничего плохого в них нет.

— Документы — документами... Но болит мое сердце, не верит. Люди-то ведь не знают, кто такой Кошкин!

— Заменим — и все тут. Пошлем понадежнее.

— Не дело. Группа объявлена. Это раз. А потом всю войну кошкинское задание будет выполнять кто-то другой?

— Что же ты предлагаешь? Сам же говорил, что Кошкина мы с тобой знаем, а другие — нет.

— Меня пошли с ним.

— Тебя? — нахмурился Гудков. — Группа объявлена. Сам только что говорил. Старшим — сержант Яковлев Степан. Обидится.

— А ты Степана отзови в полк по какому-либо важному делу, а меня пошли с группой. Я и присмотрю за Кошкиным, и погляжу, какой он сейчас на самом деле. Пойми...

— Тогда смотри в оба, Дмитрий Степанович! Ждать буду, как брата родного. По переднему краю не шарьте, мы его знаем. Нужно пощунать, что за ним, поближе к реке. Дороги посмотри и что на этих дорогах ползает. Петлицы запомните, номера машин. Знаешь, в общем. Оружие применять только в крайнем случае. Ну, прощай! Время!

Волоча за собой плотки, бесшумно спустились к реке. Первым — грузный и сильный вологодец Михаил Сарафанов, последним — Каленов. Дон переплыли тихо, без всплеска. Свои — и те сразу потеряли разведчиков из вида. На вражеском берегу в густом ракитнике переоделись в сухое, утопили плотки и поползли в глубь чужой обороны. Когда взошло солнце и развеяло спасительный туман, разведчики были недалеко от берега, в луговой низинке, заросшей редким мелкоколесьем, седой осокой и колючим татарником. Лощина раскинулась широко, упираясь одним крылом в берег реки, другим — в высокий глинистый склон. Здесь, внизу, было холодно и топко, совсем неудобное место для размещения войск, зато по косогору весь остаток ночи метались, рассекая туман, белые огни. Там, как и предполагалось, пролегли дороги, а ближе, к самому краю, стояли мрачные и чужие уже деревенские строения из камня с соломенными крышами — избы, скотники, сарай, приспособленные под огневые точки.

Он оставил Сарафанова в лощине, приказав до мельчайших подробностей срисовать на бумажку весь косогор, проставив расстояния между строениями, и дожидаться возвращения группы.

— В случае чего — уходи один, быстро и тихо. Понял?

— Понял, старшина. Только, может быть, я лучше с ними?

— Пойдешь к реке — и в воду. Камышинку захвати. У них собаки могут быть. С темнотой — домой. Все. Нам дальше.

Кошкин вел себя толково. Он первым заметил впереди полузарытый в землю танк с нацеленной на реку пушкой, часового около танка и подтолкнул локтем старшину: «Смотри, мол!» Потом Кошкин поднял с земли телефонный провод, связывающий, видимо, первую линию обороны со второй. Кошкин потянулся было за ножом, чтобы обрезать провод, но Куцев погрозил ему кулаком. Связисты поднимут шум, тогда всем крышка!

На склон косогора луг выходил тесной ложбинкой, заросшей густой лещиной. Ложбина темна даже ярким утром. От тоненького и веселого ручейка, такого говорливого и светлого, не хотелось уходить и не верилось, что совсем рядом лютует война. Передохнули, напились

воды, смыли пот и стали подползать к кромке косогора. И здесь Кошкин выдал их. Не преднамеренно, но выдал с головой, за что Куцев заплатит своей жизнью, а Каленов — изуродованной судьбою. На войне много всяких случайностей, которые кончаются трагедией, но то, что случилось с разведчиками, сам дьявол бы не придумал.

Кошкин раздавил осиное гнездо.

При других обстоятельствах такой случай вызвал бы смех у окружающих. Когда-то хуторским мальчишкой Митька разворошил гнездо уссурийских пчел, и они мигом загнали его в речку. Дедушка Лука Павлович, да и мама тоже, сочувствовали ему, хотя не могли скрыть улыбки, а потом откровенно и весело смеялись, глядя на его опухшее лицо.

— Ну, ядрено копыто! Извозили тебя пчелки! Чисто монголом стал!

Он смотрелся в зеркало и тоже смеялся вместе с дедушкой и мамой.

А здесь было не до смеха. Пчелы свирепо накинулись на разведчиков и, как те ни отбивались от них, отбиться не могли. Кошкин завозился, зашумел орешником, выматерился вслух и сразу же вызвал окрик часового на косогоре, автоматную очередь, за ней другую, голоса немцев, заполошенные команды офицеров.

— Елочки-метелочки! Влипли!

— Уходить надо, старшина, — прошептал Куцев. — Или пальнем?

— Пальнем. Только не уходить. Не уйти нам. Пусть Мишка Сарафанов выбирается. Поехали!

Два автомата ударили по брустверу, но в ложину, в мирно пахнущую грибами сырость, уже прыгали немцы. Не было прицельного огня в густом орешнике, только на человеческий дикий ор стреляли. Потом на зеленой плешинке, в окружении немецких солдат, с заломленными за голову руками возникла тощая фигура Кошкина.

— Отобьем Кошкина! — крикнул Каленов Куцеву. — Я первых четырех, ты последних!

Резанули густо. Теряя своих людей, бросилась врассыпную кошкинская охрана.

— Кошк-и-н! Бегом к нам!

Но Кошкин не пошел к ним, к обреченным. Он, под-

няв руки над головой, полез на бруствер. Передернул затвор Куцев, но Дмитрий выстрела не услышал. Ударили его коротко и оглушительно, и очнулся он уже не в зеленой лощине, а тесном подвале, где было затхло и пахло мышами, продрогший, с больной, будто похмельной головой. Молоденький солдатик-подросток обливал его теплой вонючей водой, но не солдатика сразу увидел, а Куцева, спину его в распущенной грязной гимнастерке, босого и жалкого в ярком электрическом свете. Их поставили рядом. Изнемогая под тяжестью, скопившейся в затылке, он падал уже, теряя сознание, но Федор подтолкнул его плечом.

— Держись, старшина, — прошептал он. — Свалишься — только обрадуешь их.

— Молчать!

«По-русски шпарит! И знаки различия наши. Лейтенант!»

— Вы что, Каленов, не знаете своего задания?

Он красивый, этот белокурый парень в новехонькой лейтенантской форме. Просто красавчик. Только глаза его серые будто остановились, неподвижные и холодные. «Кто ему сказал мою фамилию?»

— Вы что, разведуете сами себя?

«Разведуете»! Он же, сволочь, переоделся! И солдатик, который в чувство приводил, тоже немец!»

— Самодеятельность! — сказал Куцев и сплюнул кровью. — Нас на пушку не возмешь. — Лицо его в кровоподтеках, искусанное осами, было обезображенным, и когда он усмехнулся, стало страшным.

— Молчать, Куцев! — крикнул лейтенант и шлепнул по дощатому столу так, что подпрыгнули на нем яркий электрический фонарь и тяжелый кольт.

«Много, видать, времени прошло. Ночь уже. И фамилии знает. Кто-то сказал им. Успел уйти Сарафанов?»

— Какой части, Каленов?

Он молчал, будто не к нему обратились, оглядывал мрачное помещение. «Глубоко где-то... Бутылки с жидкостью, танковые аккумуляторы. Зарядная, значит. Где-то рядом танки. Успел или не успел Сарафанов?»

— Молчать нет смысла. Куцев сказал все.

— Врет, — равнодушно прохрипел Куцев. — Шкура вонючая.

Офицер приподнялся, готовый броситься на Куцева, но сдержался, подмигнул солдатику. Тот коротко ударил разведчика в горло, сильно и умело ударил, потому что, захлебываясь кровью, упал Куцев.

«Пацанов, сволочи, так натренировали...»

Двое в форме советских солдат привели Кошкина. «Ах, вот кто сказал им фамилии.. А почему они все переодетые?» Солдаты подняли и поставили на ноги Куцева.

— Лихо бьете! — прохрипел Куцев. — А все равно последний удар за мной. Ты, курва немецкая, еще порешь у меня «Гитлер капут».

«Молодец, Федор! Значит, не уйти, если так напрямки он...»

— И эта обезьяна тоже покорчится еще, — Куцев кивнул на Кошкина.

— Это... — офицер показал на Куцева пальцем, — это опытный кролик. Понимаешь, Каленов? Чучело. Экспонат... — он пощелкал пальцами, подыскивая подходящее слово. — Муляж, чтобы ты лучше понял. С ним уже кончено, Кошкина мы оставим тут. Он нам необходим. А ты нас поведешь на свой берег.

«Вот зачем вы все тут переодетые!»

— Не поведу.

— Поведешь. Смотри на него и думай.

«Надо кончать все разом. Ни к чему маяться зря».

— Иди ты знаешь куда... — Он не любил матерщинников, но здесь сам сказал такое, что Куцев одобрительно хмыкнул. Он уважал крепкое слово.

— Напрасно, Каленов, — с сожалением сказал офицер. — А ведь мы тебя бережем. Заметил? Пальцем не тронули. Захочешь умереть — пожалуйста! Это мы устроим лучшим образом. Долго будешь получать это удовольствие. И все равно отведут нас. Кошкин отведет или Сарафанов. Его скоро найдут.

«Сарафанов ушел. Вот и хорошо...»

Услужливо заговорил Кошкин, молчавший до сих пор:

— Зря все, старшина. Разве не видишь, проиграли. Или жить надоело?

— Это ты, стервец, проиграл! Мы выиграли! Слышишь, даже мертвые мы выиграли! А тебе, гнида, всю жизнь теперь этому фашисту между ног лизать, портянки его нюхать, — хрипел яростно Куцев.

Офицер поднялся, налил чего-то из чайника в железный ковш, подошел к Куцеву.

— Попей. У тебя пересохло в горле. Плохо кричишь!

Куцев выплюнул в лицо офицеру густой шматок сукровицы. Тот спокойно отерся рукавом и, ядовито улыбувшись, выплеснул в лицо Куцева содержимое ковшика.

— Нидертрахт!¹

Задымилось лицо Федора, вылезли из орбит, побелели глаза. Он упал с диким воплем на цементный пол, сдирая с лица клочья кожи.

«Кислотой ведь, кислотой, сволочи!»

Офицер некоторое время тупо смотрел, как катается по полу, корчится Куцев, потом взял со стола пистолет и трижды выстрелил в него.

— Дер хунд!² Убрать!

Затихшего Куцева выволокли из подвала...

Офицер, сощурившись, разглядывал Каленова, изучая, а он думал о своем. О Куцеве думал и о другом человеке — злом, непримиримом, неистовом. Об Алексее Кузькине. Первом председателе колхоза, где вырос и работал Федор Куцев.

— Этот опыт убедил тебя, Каленов?

— Убедил. Убедил, что дерьмо ты и зверь.

— Правильно. Зверь. И тем хуже для тебя. — Офицер старался быть спокойным, но ярость душила его. — Говори, поведешь? Нам надо спешить!

— Не поведу.

Офицер слил из чайника в ковшик остатки жидкости, протянул Кошкину:

— Каленов совсем дурак. Пусть останется слепым дураком. Повтори опыт. Хотя подожди. Завязать руки Каленову!

Солдат старательно и больно стянул ему руки за спиной.

— Начинай. Посмотрим, на что годен ты, Кошкин-мышкин...

Кошкин с ковшиком в дрожащих руках стал подкрадываться шажками, мелкими и неверными. За ним, перегнувшись на потолке, кралась огромная черная тень.

¹ Мерзость!

² Собака!

— Кончай, ну! — подбодрил его окриком офицер. Каждая жилочка напряглась, остановилось от ужаса, окаменело сердце.

Кошкин плеснул из ковшика, но подвела дрожащая рука. Только капли кислоты угодили Каленову в лицо, вспыхнувшее вдруг нестерпимо дикой болью. Большая часть попала на грудь, отчего задымилась, стала распадаться гимнастерка.

— А ты трус, Кошкин, — сказал офицер. — Тебе надо укреплять нервы. И мы их укрепим. На-ка, вот! — Он кинул в руки Кошкину пистолет. — На речку! Чтобы не пахло здесь этой дохлятиной!

Сразу у выхода, в свете открывшейся двери, он увидел тело Федора Куцева, задержался, не решаясь переступить его, но в спину ударили прикладом автомата. Переступил и пошел по траншее, жадно вдыхая влажный ночной ветерок с реки, наслаждаясь его прикосновением к пылавшему лицу.

Было темно после ярко освещенного подвала, но он шел, не выбирая, куда ступать босыми ногами, спешил к последнему своему шагу, как к избавлению, и не было ни страха, ни отчаяния, только сожаление, что глупо так получилось, не исполнили они как следует своего дела. Впереди тускло блеснула река. Стало еще темнее, но он знал уже, куда идти, и шагнул к яру. «Вот и все сейчас...» — подумал равнодушно.

— Стоять! — Офицер подтолкнул его к самому краю яра и отошел чуть в сторону. — Может быть, еще подумаешь, Каленов? Это ведь... навсегда... — И, не дождавшись ответа, приказал Кошкину: — Кончай! Ну, кончай же, тебе говорят!

Кошкин стоял в десяти шагах от него — бесформенная коряга в черной ночи: ни лица, ни рук, ни глаз. Черная судьба. Не видно было даже, как поднимал пистолет Кошкин. Ослепительный грохот сильно толкнул его в грудь и сбросил с обрыва в воду.

«Не убил тогда Кошкин. Убил сейчас, через много лет...»

Он услышал разговор около себя, открыл глаза. Рядом с Анастасией Андреевной сидели сыновья, Василий и Павел, за ними жена Василия — Наташа, внуки. «Поп-

рощаться собрались... Павел приехал — не ближний свет, из Средней Азии. Обнять бы Павла, давно не видел...»

Павел служит командиром отряда на границе. Он теперь навек оторван от родного хутора. Даже на похороны отца приехал гостем. И Василий часто надолго уезжает от семьи, от красавицы Наташи и от ребятишек, которых очень любит. Простой механизатор Василий, а выходит, не может страна обойтись без него. То в армию позовет, то на уборку хлеба, туда, где случится запарка, то на лесозаготовки...

На больничный двор въехала машина. Сухо хлопнула дверца, и Каленов понял, что это председатель колхоза Петр Степанович Крохалев на своем стареньком «газике». «Тоже, видно, захотел проститься... Ему жить, а со мной, видишь ли, надо прощаться».

Он подумал об этом без всякой зависти, просто больше удивляясь тому, что старик Крохалев будет еще разъезжать на обшарпанном своем «газике» по колхозным дорогам и когда его, Каленова, не будет уже... А ведь здоровье у Крохалева никудышное. Еще парнем, когда остался работать на шахте, заболел чахоткой. В сорок третьем Крохалев приехал в колхоз «Ясный путь» председателем вместо погибшего на войне Никиты Гудкова. Первое время без палочки не мог ходить, убивала его хворь. Говорят, в чем только душа держалась... А ведь поскрипывает старик и сегодня, работает много, и нет ему износа. Видно, целебный воздух для него тут, на берегу Уссури... Нет, не в воздухе дело. Это такая уж порода. Стальные и огнестойкие люди. Петр Крохалев, Алексей Кузькин, Никита Гудков... Не щадили никогда себя, хотя не о своем сытном корыте пеклись. Скромные, безвестные в стране. Потому что страна-то вон какая, а без них, без таких, как они, наверное, не могла бы обойтись Россия.

Он с нетерпением ждал прихода Крохалева, хотелось напоследок посмотреть на своего старого друга, но не дождался. Петр Степанович замешкался где-то...

Упругая и зыбкая волна услужливо подхватила его безжизненное тело, откатила от берега и легко понесла вниз по течению.

— Елочки-метелочки! А ведь не убили! — подумал он и не поверил, что смерть осталась там, на вражеском берегу, а он здесь совершенно один. Правда, сразу же уколола мысль: руки больно и прочно скручены за спиной, огнем полыхает лицо и простреленное плечо. Но то, что так вдруг появилась у него маленькая надежда на спасение, придавало ему силы, и, стараясь не плескать водой, он поплыл на спине к своему берегу. Так, на спине, давным-давно плыл по Уссури, спасаясь от озверевшего Осьмухина. Но силы уходили. Слабея с каждой секундой, он двигал босыми ногами уж полуосознанно, потом сознание стало меркнуть. Очнулся на какое-то время от того, что волокли его по земле. Захотелось крикнуть, но и на это сил не было. «Не удалось уйти...»

Он не знает, сколько длилось забытие, а придя в себя, сразу побоялся открыть глаза, слухом пытался определить, где находится. Но было могильно тихо кругом, пахло плесенью и мышами. «Опять в тот же подвал угодил...» — подумал и удивился, когда сразу за этим кто-то осторожно поправил изголовье, прикоснулся мокрой тряпицей к его губам. «Что-то не то! Немцы нежничать не станут». Поднял веки и увидел над собой лицо молодой женщины, бледное, в черном полушалке, со стороны услышал слабый старческий голос:

— Воскрес казак!

«Люди!»

— Ты, Анна, самогонки ему в чай накапай. Для сердца. Это полезно, — прошелестел голос.

— Вы, батя, где надо и где не надо со своей самогонкой...

— А ты не споруй, не споруй со мной. Делай, как сказано.

— Где я? — спросил он еле слышно: так было сухо во рту.

Но женщина поняла. Она приподняла его голову и стала поить горьким чаем с самогоном.

— У своих, солдатик. Попей и спи спокойнехонько. Наговоришься еще...

Сухонький, белый, как лунь, старик, с растрепанной бородкой, с густыми сивыми бровями, из-под которых глядели черные со смешинкой глаза, подсел к лежанке с коптилочкой в подрагивающей руке, стал рассматривать его внимательно, с веселым удовлетворением.

— Ишь ты! А ведь выжил! Ей-богу, выжил! Живучий, выходит, казак! А мы все с Ньюшкой гадали, где хоронить будем тебя...

— Батя! -- женщина укоризненно покачала головой.

— Что «батя»! Ему-то известно небось, что с того света! Мы тебя, сокол, на бережку, как золотую денежку, нашли. Пошел я, значит, пораньше за плавничком для печурки, глянь, а тебя волной купает. Думал, убитый, а ты ногами задергал. Плыл, значит, все... Без памяти, а плывешь, ногами-то! И гдей-то тебя так ухайдакали? Лицо все изодрали, как медведь шубу. И грудь. Не на своем же берегу?

— Батя, нельзя ему еще разговаривать...

— А он и не разговаривает. Это я разговариваю. И не мешай мне!

Казак был разговорчивым. Ему хотелось поскорее выговориться, соскучился по свежему человеку, и слушать его прокуренный старческий голос было до слез радостно, как утомленному жаждой радостно слушать голос ручья в степи.

— Это, надо полагать, тебя в нашей деревне так крепко убрали. Значит, лазутчик. А мой Петька на той стороне, с вами... Вот муж ейный... — Он указал растрепанной бородкой в сторону женщины.

— Почему, батя, вы думаете, что Петя у них? А если совсем в другой стороне? Война-то от моря до моря...

— Говорю, — значит, знаю. Не может он быть нигде, — убежденно сказал старик. — А кто нас будет выволять? Он! Обязан быть здесь. Ждем ведь. Со дня на день ждем! Скоро и дождемся, правда? — старик нагнулся и пытливо посмотрел в глаза, как в самую душу. — Ты, наверно, казак, все про это знаешь?

Ничего он не знал про то, скоро ли начнется освобождение правобережья Дона, но как захотелось успокоить, ободрить старика! И он утвердительно сомкнул веки: «Скоро!»

— Вот я ей все время и толкую, что совсем уж скоро. И Петька наш рядом. Значит, этих сэсовцев, растуды их трижды, скоро по ж... мешалкой да по шее палкой! Так ведь? Они же, паскуды, всю деревню заняли. В каждом доме у них пушки и пулеметы. А хозяев из станицы угнали. Только мы с Анной тут и остались. Потому что мазанка совсем с краю, и крепость из нее не сделаешь.

Не выдержав, осторожно, преодолевая слабость, поднялся с лежанки и, цепляясь непослушными руками за скользкую стенку, стал пробираться к лестнице, над которой сине мерцало звездное небо и вспыхивали розовые зарницы. Потом, задохнувшись морозным воздухом, увидел, как по всему грохочущему берегу плавают и плещут огромные сполохи пожаров и орудийных разрывов. «Эх, хорошо, видно, Миха Сарафанов берег-то срисовал, до последней капельки. Ишь, как нажаривают наши!» — удовлетворенно подумал он и, обернувшись назад, чтобы осмотреть другую, нижнюю часть берега, закрыл глаза. Совсем рядом, огороженная целехоньким тыном, зияла, сизо дымилась огромная яма, а над ней, зацепившись за старую ветлу, раскачивались дощатые двери с почтовым ящиком посредине — все, что осталось от мазанки Евграфа Михайловича и Анны...

Эх, Никита, Никита! Что же ты наделал, горячий человек! Зачем после уведомления рябого ротного писаря, что пропал Дмитрий Каленов без вести, послал письмо Анастасии Андреевне и родственникам Федора Куцева со всеми подробностями нашей беды! Не надо было бы тебе торопиться! На войне ведь всякое бывает... Самое невероятное бывает, чему никогда не поверил бы... Разве мог ты знать, что Миха Сарафанов, по пятам преследуемый врагами, без единой царапинки вернется, а еще и двух немецких перебежчиков с собою приведет?

Разве знать тебе, что на переправе через Дон погибнешь сам? И не от пули вражеской, не от снарядного осколка, как полагается на войне, а от сущего пустяка — от воды. Обдало тебя, разгоряченного боем, ледяной донской водой, и не выдержали жилы, не выдержало сердце...

Погиб ты, дорогой человек, и меня погубил, сообщив на Каленов яр, что убили меня. Михаил Сарафанов, дескать, тому порука, который видел мой последний бой и заносчивое признание немецкого офицера, плененного в разведке в ту же ночь на нашем берегу. Ведь его пистолет сбросил меня тогда с высокого яра... Поспешешь, говорят, — людей насмешишь. А от твоей поспешности, Никита, было горе одно. И не только у меня, а у многих по глубокой болючей зарубине в сердце...

Снова память торопливо подгоняет одно событие за другим. И он смотрит на себя будто в кино, со стороны и удивляется, что не кто иной, а именно он бредет по

тропинке к Каленову яру в уже не новой шинельке, с ореховой палочкой в руке, сломленной по пути, с тощим вещмешком на спине, в котором небогатые московские гостинцы для ребят и Насти.

Кончаются последние дни мая, а потому шинелька распахнута, а из-под нее нет-нет да и сверкнет золотом боевой орденом Красного Знамени. Единственный орден, а горячо он горит, с достоинством, на выцветшей гимнастерке. Ничто здесь не забивает его гордого блеска!

Кругом, насколько глаз видит, расплескалась звонкая тишина, напоенная солнцем, птичьими песнями, запахами молодых трав, с синим небом и с рекою, впитавшей в себя эту синь и благодатную тишину. И все было удивительно праздничным, будто в детстве, когда, ошалевший от весеннего тепла, покоя вокруг и неосознанного счастья, носился он по лугу, нахлестывая хворостинкой воображаемого коня.

Не хворостинка, а крепкая и сучковатая палочка была у него сейчас в руке, она помогала идти, а на душе камнем лежала темная хмурость от мысли, что идет он с войны домой, а дома на самом деле уже нет, все там чужое, не его... Пока он мыкался по госпиталям, не ведая об извещении ротного писаря и о письме Никиты Гудкова, страдая оттого, что стыдится написать сам жене о своей беде, о своем увечье, Август Репкин вошел в его дом на правах хозяина. Сообщил об этом ему в московском госпитале земляк, молоденький, шустренький солдатик Севка Коробкин, недавно призванный в армию и сразу же угодивший в госпиталь из-за болезни желудка. Родители его, рассказывая в письмах о сельских новостях, сообщили между прочим, что вдовый кузнец Август Репкин переехал жить на Каленовский хутор примаком к жене убитого на войне Дмитрия Степановича Каленова.

— Это как же так, Дмитрий Степанович, понимать? — узнав его, петушился Севка. — Ведь вы-то живой! Это незаконно, чтобы при живом мужике! За такие штучки надо по морде бить!

Он не подал виду, что расстроен, как можно спокойнее сказал Коробкину:

— Вот что, Севка... Ты обо мне в деревне ни слова! Договорились? Не видел, не знаешь. Мне самому это надо...

— Неужто поедете?

— А как же! Я там родился! И дети у меня там, и жена...

— Какая уж теперь жена...

— Ну, ладно, Севка. В этом я сам, как приеду, разберусь.

Надо же было так подумать Коробкину, что не поедет Каленов на свой хутор! С семьей, конечно, полный мрак и неизвестность, но после стольких лет разлуки он должен повидаться с ней, подышать чуть-чуть хуторским воздухом. Ведь ради этого он перенес столько, сколько другой не перенес бы... И всегда, с самого детства, где бы ни был, куда бы ни занесла его судьба, всегда в его душе жил родной хутор. И если приходилось падать под жестоким житейским ветром, умирать, то он, в самые последние, казалось бы, минуты, был с родным хутором, с родной землей. Как стрелка компаса нацелена острием на земное магнитное поле, так и сердце его к родному Каленову яру...

Вот Севка (они ехали вместе домой) готов был спрыгнуть с поезда на каждой станции, погнавшись за коротенькой юбчонкой. Может быть, даже и спрыгнул бы, но помешало одно обстоятельство. В каком-то городе он сбегал на вокзал и то ли из-за подпития, в котором блаженно пребывал всю дорогу, то ли из-за счастливого состояния души, что война окончилась, а он целехонький возвращается домой, дал старикам-родителям телеграмму «Встречайте сына-героя!» Те по стариковской наивности и простоте побежали по деревне с этим известием гордые и счастливые, потому что до призыва их Севка был шалопаем. И ждали они его в тупичке с украшенной цветами грузовой машиной и даже с оркестром из школьной самодеятельности. В общем, встречали Севку Коробкина как героя. Смехота!

Когда пришел их поезд, в веселой и даже торжественной суете, которую организовал вокруг себя Севка Коробкин, на худощавого человека с изболевшимся лицом и в поношенной шинельке никто не обратил внимания. Может быть, потому что стоял он в стороне, а может, просто, не узнали его...

Когда машина с Коробкиным и озадаченными музыкантами (у Севки на гимнастерке тогда даже овиохимовского значка не было) укатила по пыльной

дороге, он сломил палочку potvrжде, один подался на хутор.

Подойдя к калитке своего дома, никого не увидел. Тихо было кругом, только за домом, около коровника, кто-то постукивал топором. «Наверное, новый хозяин — Август Репкин...» Трудно поднявшись на крыльцо с больно сжавшимся и громким сердцем, он потихоньку шагнул на порог избы. Незнакомая девчонка-стригунок сидела на лавочке у стены с цветной книжкой. Настя в беленькой косынке и в пестренькой кофте, он эту кофточку еще с тех пор знал, покрасневшая и красивая, собирала на стол. Не его, конечно, встречать, а потому, что пришло время обеда.

Первой его увидела девчонка. Она вытаращила голубенькие глаза и застыла, будто окаменела. «Репкинская девчушка...» — догадался он. И хотя в тишине избы ничего не изменилось за эти крохотные секундочки, даже муха не пролетела, Настя вдруг резко, будто кто ее подстегнул, обернулась и так же, как девчонка, стала всматриваться в него удивленно и встревоженно.

«Не узнала!»

Сразу румянец стал спадать с лица жены, будто кто смывал его желтой водой, руки потянулись к груди, а побелевшие губы хотели сказать что-то и не могли, не хватало воздуха для слов. Она его стала ловить ртом и, словно саранка под литовкой, вздрогнула и упала.

Он отпаивал ее водой, маленькую и ослабевшую, сам будто с защемленным от волнения и нежности сердцем, когда на пороге встал Репкин, высокий и громоздкий.

— Та-а-к...

Он сказал это хоть и охрипшим голосом, но спокойно, будто ждал давно, что случится так вот, а не иначе...

— Вернулся, значит...

— Вернулся.

Настя пришла в себя, и заботиться о ней принялась перепугавшаяся Гутькина дочь, а они стояли друг перед другом — два мужа одной жены, непримиримые и растерявшиеся от того, что не знали, как вести себя и как начать тяжелый разговор.

— Ну садись, — сказал хрипло Репкин. — Гостем будешь...

— Давно хозяином-то тут?

— Давненько. Как убили тебя...

— Не убили вот...

— Вижу.

— Жалеешь?

— Зачем же... Я не зверь. Просто говорю, что теперь вижу — не убили...

Так и не начатый разговор прервали его мальчишки, Вася и Павлик. Они, видимо, рыбачили на Уссури, пришли с засученными штанами, счастливые от удачи. В руках держали куканчики из тальниковых тростинок, на которых были нанизаны рыбешки — чебаки, касатки, красноперки. Дети робко, как вкопанные, остановились у двери, готовые вот-вот убежать.

— Что же вы, ребятки... — тоже хрипло сказал он, — не узнали, поди?..

— Папа... — прошептал Павлик и вдруг радостно и тревожно, так, что резануло по сердцу: — Па-а-пка!

Он тискал своих ребят, целовал, а по его лицу текли слезы. Первый раз за все время... Какие передрыги прошел — и ничего, а тут, как баба, разревелся, забыв, что смотрит на него Август Репкин. Какими должны быть горячими мужицкие слезы, если текут они, как через камень, сами и в первый раз!

Настя упала ему горячим лицом в колени, рыдала, тяжело содрогаясь всем телом, плакали и смеялись дети, и от этого не мог он никак остановить слез. Нет лучшей благодарности, лучшей награды пострадавшему солдату, чем слезы радости любимых.

— Ну, не надо, не надо, Настюшка, не надо, ребятки. Будет!

— И правда, хватит... Давайте посидим за столом, поговорим, — тусклым голосом сказал Август.

Настя стала торопливо прибирать на столе, он — развязывать мешочек с московскими гостинцами.

— Как звать-то тебя? — спросил девочку, протягивая кулечек с дешевенькими конфетами.

— Шура...

Ей было лет десять, этой широкоскулой и очень серьезной девчужке.

Разве знал он тогда, что Шура станет с этого дня уже его дочерью?

— Вы, пацаны, давайте-ка пока на речку, побегайте там, — сказал строго Репкин. — Нам тут кое о чем поговорить надо...

Поняли дети по лицам посуровевших мужчин, по лицу растерянной матери, что минутный праздник прошел в их доме, все трое один за другим тихо вышли из дому.

— Ну, что ж... Как говорят, с приездом, — поднимая стакан с самогоном, наигранно гостеприимно сказал Репкин, не дожидаясь, выпил самогон махом и, не закусив, закурил.

«Эх, выпить бы сейчас!» Но сдержался, не стал. Даже Никита Гудков, любивший иногда «царапнуть парочку фронтовых нормочек», никогда не пил перед ответственным делом — перед поиском или перед атакой.

— Чего не пьешь-то? Или на войне не научили?

— Там другому учили...

— Понимаю...

Он и есть не стал, смотрел на жену, нервно подергивавшую ниточку на клеенке, сухими глазами рассматривающую его украдкой; на Августа, испуганно мрачного и тревожного, с рыжей ухоженной бородкой, в которой путался дым; на стол с хорошей, сытной для послевоенного времени едой; на ладную и чистую обстановку в избе с могучими самодельными кроватями, с побеленной печкой, с недавно выкрашенными полами, и думал, что Август Репкин хозяин что надо и зря тут не мотался.

— Ну, расскажи хоть про войну... — Август терял терпение и боялся начать главный разговор.

— По радио небось слышал...

Настя потупилась мученическим взглядом в стол, и это придало духу Августу.

— На Дальний Восток поглядеть приехал или насовсем? — по-хозяйски, нарочито самоуверенно спросил он.

«Ага! В атаку пошел! Хватит вокруг да около! Кончать надо разом».

— Я не на Дальний Восток приехал, Август, а к себе на хутор. Домой. И не поглядеть, а насовсем. Тебе уходить, Август.

Репкин налил еще стакан самогону, глубоко затянулся самосадным дымом.

— А если я не уйду никуда? Если я люблю Анастасию?

— Уйдешь. Я тоже ее люблю.

— Биться будем или как?

— Не будем биться. Набитый я уже. И не справлюсь я с тобой после госпиталя.

— Так... Если ты такой хворый и слабый, может, намекаешь, чтобы вдвоем нам с ней уходить из твоего дома?

— Напекаю, чтобы одному.

— Понимаю. Сиделка, значит, тебе в доме нужна... Пусть Анастасия Андреевна скажет, хозяйкой ей со мной быть или милосердной около тебя...

Кулаки сами сжались под столом, но Настя опередила:

— Уходи, Август...

— Тэ-эк... Все же, выходит, мне. Ты хорошо подумала, Анастасия Андреевна?

— Уходи! Прямо сейчас! — всхлипнула она и, уронив голову на стол, отчего волосы разметались по клеенке, навзрыд заплакала.

Август, не глядя ни на кого, выпил самогона, не закусывая скрутил самокрутку, тяжело, будто больной, поднялся и пошел к двери. У порога, который предстояло последний раз переступить, глядя под ноги себе, ни к кому не обращаясь, попросил:

— За девчонкой моей присмотри. Скоро заберу...

Бывают в жизни такие потрясающие случаи, которые в памяти и в сердце оставляют навсегда глубокую метину. Никогда ему не забыть казачку Анну, первой учувшую счастливую грозу над толщей погребя, гармошку с разорванным мехом на груди убитого гармониста, жесткие и мудрые слова Евграфа Михайловича, чтобы попал он с Анной, потому что деревню продолжать надо и без ребятишек никак нельзя, внезапно побелевшие на обезображенном лице глаза Федора Куцева... Но бывает, что и сущий пустяк западает в душу и не вытравишь его никак... Сапоги Федора Куцева, с берестой для скрипа, разметанные прямым попаданием бомбочки, певучая птичка на могильном холмике Усольцева, почтовый ящик на дверях дома, которого уже нет, хоть на тот свет пиши... И вот сейчас... Господи! Зачем только Август его ореховую палочку сучковатую захватил! Ссутулясь, как побитый, побрел мимо дома, может быть, самого счастливого в своей жизни дома Август Репкин, мимо своей любви, а в руке зачем-то, как судьбу, понес неказистую шаршавую палочку, с которой он, Дмитрий Каленов, вернулся сюда. Будто горькую эстафету принял из рук в руки...

Не забрал Репкин из каленовского дома Шуру. Как в воду канул... Сперва был у него затяжной запой, по-

том он мыкался туда-сюда по стране бобылем и не мог нигде зацепиться, потому что продолжал беспробудно пить. Деньги, правда, переводил дочери исправно, то из Воркуты, то из Новосибирска. Без письма пуховую шаль Анастасии Андреевне из Барнаула прислал, дорогую и красивую. Но ни в станице, ни на хуторе так с тех пор никто его и не видел.

Анастасия Андреевна, когда прочитала обратный адрес на матерчатой мягкой посылочке, отошла в сторону, будто разыскивая ножницы, чтобы вспороть мешочек. А ножницы всегда висели на одном месте около окошка, просто надо было отойти ей... Он видел, как сразу запотели ее очки, заволновались руки. Пожалел ее тогда, потому что сильно волноваться Анастасии Андреевне уже нельзя. Если бы в молодости такое, он бы себя, наверно, пожалел в ту минуту. А сейчас что ж...

Может, и не остыл совсем Август Репкин, но все равно, надо полагать, прислал он этот неожиданный и дорогой подарок из простой человеческой благодарности. Как бы там плохо для Репкина ни получилось, а пока он будто подраненный медведь-шатун мотался по России, убегая от своей судьбы, Анастасия Андреевна подняла на ноги его дочь.

Хороших людей вырастила полуграмотная и, кажется, безрассудно мягкая Анастасия Андреевна! Хоть Шуру возьми, Павлика или Васю. Ребята и его уважали, но больше тянулись к матери. Талант у нее, что ли, какой? Наверно, талант.

Некоторое время спустя, как вернулся он с войны и в доме несколько поутихло после того потрясения, Настя положила перед ним на стол письмецо, распечатанное уже, так как она давно его прочитала. Ничего плохого он в этом не усмотрел, у них и раньше секретов меж собой не водилось, а тут такое дело... В живых-то его как бы и не было...

Письмецо коротенькое, написанное детской рукой, повергло его в замешательство. И не только потому, что содержание письма узнала жена. Писал ему сын Нины Кошовкиной. Его сын.

«Здравствуйте, Дмитрий Степанович! Я долго искал Вас, но не мог найти. И сейчас пишу на всякий случай. Мама говорила мне, что Вы ее фронтовой друг, и просила сообщить Вам, если с ней что-нибудь случится. Ее

убили 21 января 1944 года в Восточной Пруссии. Вот и все. Я живу в Благовещенске, в детском доме. Учусь хорошо. До свидания. Дима Кошовкин».

Он молча ходил из угла в угол избы, а Настя грустно смотрела на него.

— Кто это, Нина Кошовкина?

Ему не хватило решимости сказать все начистоту, а врать он тоже не умел. Ответил уклончиво:

— Фронт...

— Понимаю, что фронт... А почему Нина просила сына написать тебе?

— Наверно, у них никого не было...

— Если никого не было, значит, тебе надо поехать и забрать его...

Настя сказала это спокойно и решительно, будто давно продумала все.

— Как же его забрать-то?

— Надо забрать. Сирота ведь...

На другой день, захватив кое-какие гостинцы, собранные Настей, он поехал в Благовещенск. На окраине города, в бывшем купеческом особняке, расположенном в пронизанной солнцем березовой роще, нашел детский дом. Но директора в тот момент не было. Сторожиха, узнав в нем приезжего, к тому же фронтовика, проводила его на квартиру директора, в маленький бревенчатый домик, спрятанный здесь же, в роще.

Его встретила худощавая женщина, молодая еще, но сразу показавшаяся значительно старше своих лет из-за суровой усталости на нездоровом лице и холодно поблескивающих очков.

Когда он назвал себя, женщину будто подменили. Она всплеснула руками, засуетилась, засветилась радостью, словно пришел к ней дорогой родственник.

— Ничему не удивляйтесь, Дмитрий Степанович! Я вам о многом расскажу, — и добавила дрогнувшим голосом: — Вы знаете, Нины нет...

Ошарашенный таким оборотом дела, он сидел у стола в комнате директора, а женщина уже гремела тарелками на кухне и оттуда громко говорила:

— Я почему-то была уверена, что вы приедете, Дмитрий Степанович! Не может быть, чтобы на войне убивали поголовно всех. Кто-то должен остаться!

— Да не томите вы меня...

— Я забыла сказать вам. Меня зовут Надежда Сергеевна...

Она села напротив Каленова и неожиданно сказала:

— Вы знаете, мы подруги с Ниной Кошовкиной еще со студенческих лет. Жили вместе. Сестры — и все! Одинокие обе. Меня замуж тоже никто не берет. Чахотка. Дураков нету. Сейчас молодые и здоровые бедуют.

Надежда Сергеевна была нервно возбуждена и говорила без умолку.

— Я буду все время говорить, и вы не удивляйтесь. Вы-то молчун, правда? Я все знаю, Дмитрий Степанович. Поэтому так обрадовалась. Нина просила, если вы останетесь живы, то обязательно увидеть вас и поцеловать. Она любила вас, Дмитрий Степанович. И я потом сделаю, как Нина велела. Поцелую. Она вас рисовала совсем другим...

— Лицо...

— Я поняла уже. Где-то крепко опалило. И я знаю, зачем вы приехали. Забрать сына.

— Да.

— Я не отдам его.

— Не отдадите? Почему?

— Димка должен остаться. Любят его здесь и ребята, и воспитатели, и обслуга. Хороший мальчик. Отличник, общественник, поэт, изобретатель и все что угодно. Хочет стать летчиком. В детской технической школе лучшие модели самолетов — его. У него есть все! Понимаете теперь?

— Понимаю, но я его отец...

— Не понимаете. Вы упрямый, я знаю. Что вы дадите Димке взамен всего этого на хуторе?

— Но встретиться, увидеть его...

— А зачем это нужно, Дмитрий Степанович. Разворошить душу себе и ребенку? Пожалейте его. Он трудно перенес гибель матери. И вам стать отцом на три-четыре года — глупости! Вы для него погибли, когда он начал чуть-чуть соображать. Присылайте сколько сможете. На меня. У нас еще трудновато, сами понимаете. В институт пойдет — еще труднее будет. Там стипендишка с гулькиным нос, а Димка растет и ввысь и вширь.

— Это само собой... Но увидеть можно?

— Он сейчас далеко, в летних лагерях. И зачем вам это? Я, может быть, жестокая, но по-другому нельзя.

Будьте мужчиной. Не делайте мальчику хуже. Я и жене вашей сказала то же самое.

— Жене?

— А вы разве не знаете еще? Она приезжала, как только получила письмо от Димки. Вы еще были на фронте. Навезла кучу подарков. Хотела его увидеть, стала спрашивать про Нину. Я, конечно, о ваших настоящих отношениях — ни слова! Зачем вносить смуту в сердце такой милой и славной женщины... Наговорила ей сто верст до небес про боевую нерушимую дружбу фронтовиков и прочее... По-моему, убедительно. Вы передайте ей большой привет от меня.

Когда он вернулся домой, Настя, встретив его у порога, с тревогой и сожалением сказала:

— Не привез. Не отдали небось?

— Не отдали.

— Я так и знала, что не отдадут. Но хоть видел ты его?

— Нет, не видел. В летних лагерях он.

— Это же твой сын, Митя... Я его видела. Как две капельки. Ты мальчишкой в точности таким был. И лоб, и глаза, и волосы — все твое! Не отдали ведь. А я бы его полюбила...

Приоткрыв глаза, не увидел никого в палате, кроме усталой и суровой сестры, дежурившей около кислородного аппарата. Аппарат тоненько всхлипывал, а у него сухо жгло в ноздрах и во рту. И он порадовался, что слышит музыку, что в палате никого, кроме сестры, нет. «Значит, полегчало, если все вот так... Может, и поживу еще».

Тихо приоткрылась голубая дверь палаты, и он увидел Шуру. Она пропустила мимо себя совсем нескладного в кургузом халатике Крохалева. И снова обрадовался Дмитрий Степанович, что пришел к нему Крохалев и что сел он не на табуретку, как к умирающему садятся, а у него в ногах на кровать. Так легче было видеть Крохалева. Петр Степанович моргнул глазами другу, поздоровался и приветливо кивнул седой головой.

— Говорят, что ты не слышишь. Слышишь небось, Дмитрий Степанович? Проходит болезнь-то?

«Эх, Петр Степанович! Проходит — не проходит, не в этом сейчас дело. Топтаться тебе уже все равно без

меня. А пришел — хорошо! Просто замечательно, что ты пришел!»

Он сказал это глазами, и Крохалев понял все, улыбнулся и вытер лицо рукавом пиджака.

Как-никак, а с Крохалевым рядом половина жизни прошла... Нелегкая половина, потому что Петр Степанович мужик суетный и хоть справедливый, но требовательный к людям, даже суровый, если что не так. Друг ты ему или недруг, а распечет за милую душу. Колхозники некоторые и побаиваются, но уважают Крохалева. Сколько уже лет колхоз «Ясный путь» на его плечах... Хороший нынче колхоз, крепкий и надежный для тех, кто на работе не оглядывается на солнышко. Два раза награждали за это председателя. Да и многих в колхозе награждали. На торжественных собраниях и в затемненном зале сельского клуба награды, будто звезды на вечеряющем небе, поблескивают там и тут. Со сцены, из-за стола президиума он не раз это видел и вот так думал.

А ведь порой трудно было, что, кажется, никакой надежды, никакого просвета. Выдюжили с Крохалевым. Командир! Командир и коммунист!

И ему Петр Степанович дважды рекомендацию в партию давал. Дважды, потому что первый раз неудачно...

Приехал он на хутор во время медосбора, обошел пасеку, похвалил их с Анастасией Андреевной, а потом за чаем сказал:

— Тебе в партию надо вступать, Дмитрий Степанович. Удивляюсь, почему ты на фронте не вступил...

— Ты же знаешь, не так уж много я навоевал...

— Как это немного?

— В госпиталях какая война...

— А орден у тебя за что?

— В партию, Петр Семенович, вступить, я считаю, — как награду получить. За войну я свое уже получил.

— Хм... Ишь ты! Сказанул! А если за твою работу полагается тебе такая награда?

— За мед? Его пчелки носят. А потом, что такое мед? Сладость. Ребятишкам на краюшку намазать. Ты за мясо и за хлеб такие награды раздавай.

— А ведь, правда, рано я с тобой такой разговор завел... Несознательный ты еще совсем, — рассердился Крохалев, но заставил задуматься о вступлении в партию.

— Рекомендацию тебе сам дам, Дмитрий Степанович. Понял?

А чуть позднее, уже в осеннюю слякоть, снова приехал на хутор председатель. Сердитый, обеспокоенный чем-то.

— То, о чем я тебе скажу, Дмитрий Степанович, должно остаться между нами. Велят нам, понимаешь, кое-какой скот на бойню отправить. И сено, соответственно, лишнее соседям передать. Утонуло у них сено на лугах. Постановление райисполкома есть. А я не согласен. План по мясу мы давно выполнили, а скот оставили себе на зиму, который получше. Для молока и на племя. Как его можно на бойню? Схитрить надо. Соседи сами проворонили, а мы тут при чем?

— Так что же ты предлагаешь, если постановление?

— А вот что... Сводку я в район уже отправил. Но заниженную и по кормам, и по животноводству. Пока там, в районе, сводку изучают, мы самых продуктивных и племенных отберем и к тебе на хутор перегоним. Приедут, посмотрят на скотинку, которая согласно сводке осталась, может, пожалеют. Нельзя же под корень даже хилое животноводство! А вы с Анастасией Андреевной тем временем скотниками поработаете. Подальше, в липах укроете коровок, подоите и прочее...

— Вроде сам у себя украл... А не нахлопают нам?

— Могут. Но ведь жалко скот, и сено жалко артельное. Кто соседям не велел вовремя корма на правый берег перевезти? Вперед будут предусмотрительнее. А наши колхозники нам после спасибо скажут...

Спрятали в липах скот. Десятка полтора коров, бычков племенных, овец и кобылиц. Теперь с зари до зари они с Анастасией Андреевной хлопотали в роще. Кормили этот скот, доили, мастерили для него укрытия. А ночью до первых петухов гудел в их доме сепаратор. В детских яслях, в больнице и в школе в ту пору было преобильно разной еды из подпольного молока. Не сдашь ведь его в район по заготовкам, если коровы не показаны в сводке.

Все бы хорошо сошло, но раскрыл тайну дотошный фининспектор и доложил куда следует по всей форме. Крохалева тогда чуть было не сняли с работы, но учли все заслуги, объявили строгий выговор, а его — за уча-

ствие в обмане пристыдили как несознательного и отказали в приеме в партию.

— Ну и как?— с явной ехидцей спросил он Крохалева, когда оба они, будто из парилки, выскочили из райисполкома, где их учили уму-разуму.

— Все правильно...— с досадой сплюнул Крохалев,— Все по закону... Заработал — получи! А скотинку все равно жалко!

И вечером, когда они сидели в доме Крохалева, тот утешал:

— И перед тобой неудобно, Дмитрий Степанович... Подвел я тебя. Ты уж извини... Сегодня надавали — завтра простят. Думаю, правильно ты линию свою понимаешь.

Выпили за друзей, за Гудкова, Усольцева и Кузькина. А во рту сухо. «Спирт?»

— Кислород!— Это сказала Шура.

Уже не было в палате Крохалева, зато пришли сюда люди в белых халатах. Много людей, как только вместились они все? И далекая музыка, которая все время жила в нем, теплилась чуть-чуть, вдруг прорвалась оглушительно, и люди, их было уже тысячи, море людское, океан, радовались чему-то, кричали, махали флагами, пели песни, обнимались и плакали. Такое он видел, когда, выписавшись из госпиталя, попал на Красную площадь. Там строгие солдаты бросали к подножию Мавзолея, к ногам народа фашистские штандарты. А Красная площадь гремела музыкой, счастливым смехом и песнями. С ликующей музыкой в груди он сошел с поезда и потихонечку пошел к себе на хутор, к Каленову яру. Звенела вокруг весна, а тропиночка домой вся в камешках... Он столкнул один, а за ним другой покатился куда-то глубоко-глубоко... Слышно было, как падали они. Все реже и реже...

**Владимир Александрович
Руссков**

КАЛЕНОВ ЯР
Повесть

Редактор Л. Костина
Художник М. Шевцов
Художественный редактор Б. Шляпугин
Технический редактор Л. Анашкина
Корректоры М. Доценко, Н. Попикова

Сдано в набор 15/XI-1974 г.
Подписано к печати 24/II-1975 г. А10636.
Формат изд. 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Печ. л. 7.
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 12,07.
Тираж 100 000 экз.
Заказ № 2489. Цена 60 коп.

Издательство «Современник» Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли и
Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли, г. Электросталь Московской
области, ул. им. Тевосяна, 25.

60 коп.